ВАСИЛИЙ
ФЕДОРОВ
1

ВАСИЛИЙ
ФЕДОРОВ

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1975

ВАСИЛИЙ

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ТРЕХ ТОМАХ

ФЕДОРОВ

1

Р2
Ф38

Ф $\frac{70402-213}{0(78)02-75}$ Подписное

О СЕБЕ И БЛИЗКИХ

Читая автобиографические очерки писателей, замечал: многие из них начинают разговор о себе с оправдания в том, что занимаются своей особой. При этом одни говорят, что еще не время подводить итоги, другие ссылаются на вынужденность обращения к своей личности, третьи начинают с извинений перед скромностью. Так хотел начать и я, но тут же подумал: а разве, занимаясь стихами, поэмами, очерками и статьями, я не занимался собой? В конечном счете, о чем бы и о ком бы мы ни писали, мы пишем о себе. Наш взгляд на мир, сам отбор материала, манера его изложения — все говорит о нас, пишущих. А поэт-лирик и тем более в силу жанра вынужден заниматься собой, не прячась за спину подставных героев.

Мне в жизни пришлось написать множество автобиографий, коротких и развернутых, в зависимости от того, куда меня принимали. Самая интересная, на мой взгляд, лежит где-то в довоенном архиве Новосибирского аэро-

клуба. Очень уж хотелось, чтобы меня приняли. Написал так, что замполит, прочитав ее, сказал перед всеми учлетами: «Сочинил, как писатель!» Самая скучная, по-моему, находится в Союзе писателей, хотя тоже очень хотел, чтобы не отказали в приеме. Видимо, устал повторяться.

У меня в стихотворении «Корни» есть строчки: «Помню родословную свою только до четвертого колена». Честно говоря, в них моя память явно преувеличена. Открыв глаза на белый свет, я уже не застал в нем ни главных бабушек, ни заглавных дедушек, а о прадедах и говорить нечего, все они сливались у меня в одну легендарную Бабушку и в одного огромного Дедушку. Если моя память еще выделяла прадеда Леонтия, то лишь потому, что его называли по имени. Он уже доживал свой век, когда его бездомный внучек, мой отец, пригретый дядей Тимофеем, привел в дом, уже набитый невестками, мою молоденькую маму. Ослепший богатырь почти все время лежал на печке и, чутко прислушиваясь к разноголосице дома, время от времени подавал свой голос в защиту мамы. Когда его не слушались, он гордо напоминал расшумевшимся женщинам о своей былой богатырской силе:

— Дитятки!.. В двадцать лет я один тридцатипятипудовый якорь ворочал! — При этом грузное слово «тридцатипятипудовый» поднималось так высоко, что на минуту все притихали. Потом шум поднимался снова, и, если в этом шуме не слышался голос Ульянки, он настороженно спрашивал:

— Что-то Ули не слышно... Здорова ли?..

На что получал ревнивый ответ:

— Повесь свою Улю на шею и носи, как иконку... ,

Древний старик пытался урезонить ревнивых молодух и, видя, что все его слова тщетны, заканчивал разговор тяжелым, многозначным вздохом мудрой печали:

— Эх, дети, дети!..

По рассказам мамы, в большой семье к слепому старику хорошо относились лишь мои родители, благодарные

па приют, да его старший сын Тимофей, такой же богатырь, как и он. Этого я уже помню. По нему я представлял деда Харитона, о трагической любви которого мной написана поэма «Золотая жила», что избавляет меня теперь от подробного разговора о нем. Но в поэму, понятно, не могли войти какие-то житейские детали. Уйдя на поиск «золотой жилы», он действительно много лет пробыл в тайге старателем, были у него и удачи, потому что доходили до деревни слухи о его пьяных разгулах не то в Иркутске, не то в Красноярске. Несколько раз он порывался вернуться в Марьевку, но после очередной гульбы был вынужден снова возвращаться в тайгу. Говорили, что своих покинутых детей он любил, при выходе из тайги высылал им немалые, по деревенским понятиям, деньги, однако те деньги, перехваченные кем-то, ни разу до них не доходили. Видимо, Харитон был еще жив, когда Митька и Мотька оказались круглыми сиротами. Сначала они оба попали в тесный дом дяди Тимофея, но вскоре Мотьку забрал в няньки проезжавший мелочник из Томска, а Митька на сомнительных правах родственника до поры прижился в дядиной семье. Вот почему дедушку Тимофея, когда у нас уже не стало отца, мы все считали родным. Да и он до глубокой старости относился к нам покровительственно.

Ему было уже далеко за семьдесят, а он еще боролся с молодыми и всегда их перебарывал. Вокруг такой борьбы, а затевалась она, как правило, в праздничные дни, всегда собиралось много участников и зрителей. Однажды, положив на лопатки двух парней, дед Тимофей высматривал в толпе желающих помериться силой. Никто не решался. Тогда его взгляд остановился на моем старшем брате Петре, работавшем в Томском окружкоме комсомола и приехавшем в отпуск. Он так на него смотрел, что Петр, тоже высокий и крепкий, вынужден был выйти на круг. Боролись они долго, и, когда молодой переборол старика, тот от обиды заплакал и пошел в дом. На пути ему

встретились сыновья — Павел и Григорий, ребята сильные, но низкорослые, он бросил им с обидой:

— Лехины — вот кто в меня... Эх вы, двадцатники!..

Лехиными в деревне прозывали нас. Если кто приезжал и спрашивал Федоровых, называя имена, никто не знал, но стоило назвать наше прозвище, как тут же слышал: «А, так вам Таньку Лехину!.. Так бы и сказали». Прозвище было образовано от имени Леонтия, которое в мордовском варианте — в Марьевке жило много мордвы — звучало Лехой. Обида деда Тимофея состояла в том, что именно к нашей семье привилось имя его отца, а не к его детям. Когда же я спросил маму о таком страшном ругательстве, как «двадцатники», она что-то вспомнила и рассмеялась.

— Это в городе такие всякие разные служащие были, которым получку по двадцатым числам давали... — и, разыгрывая сцену, изобразила двадцатника, который на подступах к двадцатому числу в крещенский мороз на томском рынке мясо покупал. — В одном запахнутом пиджачишке, руки в рукавах, подбежал к прилавку, выплюнул за прилавок медяшку.

«Дай фунт осердья...»

Ему свесили фунт осердья, сунули под мышку, и бедный «двадцатник», не вынимая из рукавов рук, сгорбившись, побежал домой...

С тех пор, когда я слышал презрительное ругательство деда Тимофея, тотчас представлял жалкую фигуру «двадцатника» с фунтом осердья под мышкой.

После неудачной борьбы с внуком могутный дед бороться вообще перестал, но продолжал удачливо тянуться на палках. В следующий приезд Петр привез в утешение старику огромную трубку, изготовленную специально для витрины табачного магазина. Под его усами на фоне седого облака бороды она казалась самой обыкновенной трубкой. До конца своих дней он уже не расставался с ней.

Теперь вполне сознаю, что деду Тимофею я обязан страстью к лесопосадкам. Посадить и вырастить дерево — для меня не меньше, чем написать хорошее стихотворение или поэму. Во Владимирской области, где мы жили около восьми лет, после нас остался взрослый фруктовый сад, под Москвой уже высоко поднялся сибирский кедр, в Марьевке, где интерес к живому дереву по традиции еще слаб, я сделал попытку озеленить пустырь. Дело в том, что когда-то, избранный старостой, дед Тимофей принимал активное участие в уничтожении местных лесов. За два-три ведра самогона смолокурам отдавались немалые участки с вековыми деревьями. Понятно, моя запоздалая реакция на этот факт носит всего лишь нравственно-символический характер. Если бы даже все мои собратья по перу занялись лесопосадками, они не восполнили бы и сотой доли древостойных утрат только в одной Марьевке.

По линии отца в моей памяти почти нет женщин, только богатыри-мужчины, а по линии матери, наоборот, помнятся могучие духом женщины. Сначала одна Большая бабушка распалась на две прабабушки, от чего они, к моему удивлению, не стали меньше. Одна предстала неистовой ревнительницей официального православия, дважды ходившей из Сибири в знаменитую Киевскую лавру, — это я уже знал по рассказам; вторая оказалась дремучей раскольницей с характером пророчицы. Не знаю, по каким источникам, но она задолго до нового века пророчила отречение царя от престола, предсказывала, что его генералы будут менять свои золотом шитые мундиры на солдатские шинели, что появятся огромные птицы с железными клювами, которые будут гоняться за людьми и убивать их. Церковь и попов она ненавидела лютой ненавистью.

От Большой же бабушки откололась и просто бабушка Анна, родительница мамы, великая печальница и рукодельница. Она — от православной богомолки.

О том, как Богомолка ходила в Киев, я слышал рассказ в двух редакциях — в редакции мамы и ее брата, дяди Василия, ныне глубокого старика. Уходила она с легкой котомочкой ранней весной и, питаясь тем, что бог пошлет, приходила в Киев осенью. Там, помолившись каким-то святым мощам, она зимовала, а весной отправлялась обратно и приходила домой к новому урожаю. Говорили, что ходила она в Киевскую лавру замаливать грехи умершего мужа, просить бога, чтобы тот не очень строго судил его на том свете. Подозревали, что сама она в чем-то провинилась перед мужем и боялась, как бы тот, встретившись с богом, не наговорил на нее лишку. Но был и третий вариант, более достоверный. В Киеве у нее жил брат, который еще в детстве был отдан в чужую богатую семью и которого с тех пор она не видела. В первый свой приход она его там разыскала.

В мамином варианте ее бабушка со спутницей незамеченными вошли в богатый дом. В доме их приняли за нищенок и начали гнать. На шум из соседней залы вышел важный военный при «еполетах», чуть ли не генерал, и посмотрел строго на прислугу: дескать, что это у вас тут за шум и непорядок? Еще строже посмотрел на обносившихся странниц.

— Как вы сюда попали?

— Братец, Иван Алексеевич, не узнаешь?..

Вздрогнул генерал, даже золотая бахрома на плечах трепыхнулась.

— Маша!.. Откуда ты?! Не с того ли света?..

Спутница, должно, испугалась, что их не признают и не примут в доме, заторопилась подкрепить свое земное существование:

— Нет, батюшка, она с этого света... с этого!

В другом варианте этот эпизод выглядит иначе. Странниц останавливают еще у высоких резных ворот купеческого типа. Строгий привратник с бляхой на груди пытается их отогнать.

— Не велено мне пущать в дом цыган и бродяжек...

— Не бродяжка я, а хозяина твоего родная сестра.

— Не такой мой хозяин, чтобы кровная сестра в оборванках ходила!..

— Из Сибири я, добрый человек, пешком шла...

Удивился привратник, разрешил на лавочке посидеть, подождать, когда хозяин домой возвратится, а там — признает, не признает — дело хозяйское. Сидят странницы, котомочки развязали, черствый хлебец всухомяточку жуют, а к воротам на тройке представительный мужчина подкатывает, привратнику выговор объявляет:

— Сколько раз говорено было, чтобы вот таких не пущать...

— Сестрой кровной объявилась...

— Сестра? Сестру мою давно бог взял...

— Жива я, братец, жива!.. Из Сибири к тебе пришла...

— Сестрица, Маша!..

Как бы там ни было, но моя прабабка Мария дважды побывала в Киеве. Когда я в детстве слышал пословицу «язык до Киева доведет», то был уверен, что она произошла от этой моей прабабки. Богатый брат дважды пытался задержать ее в своем доме, но она не соблазнилась ни достатком брата, ни теплым украинским климатом. По весне снова отправлялась в суровый таежный край, где у нее оставалась дочка Анна. Этой Анне выпало потом породнить Богомолку с Раскольницей. Она вышла замуж за ее сына Наума Осиповича, мастера на все руки — бондаря, пимоката, горшечника, к тому же балагура. От религиозной крайности матери Анна пришла к раскольничьей крайности свекрови, но религиозный деспотизм последней оказался менее страшным, чем тяжелый характер мужа. По рассказам матери, у него было какое-то упрямое желание вывести ее из душевного равновесия, полагаю — напускного, заданного себе, взорвать в ней чувство смирения, наверняка истинного, заставить ее вскрикнуть от боли, попросить пощады, чего она никогда не делала. За-

путавшись в богах, в способах угождения им, она молилась, то подражая матери — по-православному, то свекрови — по-раскольничьему. Однажды, истерзанная мужем, Анна побежала в лес, добежала до первой полянки, упала на колени и стала молиться небу и лесу.

Испугавшись содеянного и того, что жена может наложить на себя руки, Наум Осипович побежал за ней следом и, увидев ее на полянке, спрятался за темный куст.

— Господи, — молилась она, — избавь от греха... Не выдержу, возьми меня сам...

Просьба жены к богу потрясла Наума Осиповича, душа его наполнилась стыдом и раскаянием. Подозрительный прежде к ее красоте и смирению, он вдруг увидел, что она была непритворной в своем многотерпении. Наум Осипович тихо отступил от лесной полянки, оставляя жену договорить с богом, а встретив ее у крыльца дома, склонил перед ней русую голову и сказал:

— Прости меня, Анна... Клянусь богу и своей и твоей матери, что с этой минуты никогда в жизни даже пальцем не трону...

Слово свое он сдержал, никогда ее больше не тронул, но жизнь Анны была уже коротка. Ее любимым делом было рукоделье — вязанье и вышивка, но не ради тонких кружев и цветных узоров пришла она в дом, где ценилась не красота, а физическая сила. Кроме нравственных страданий, которые обрушились на нее, ей пришлось непосильно много работать. И, несмотря на перемену в муже, она стала тихо гаснуть. Хотя Наум Осипович был мастером на все руки, большого достатка в доме не было. Об этом говорит одна бытовая сценка, выхваченная в детстве цепкой памятью мамы. В доме были гости. Каждый из гостей получил кусочек сахара к чаю. Когда они ушли, старая раскольница, не захотевшая сидеть рядом со слугами антихриста, спустилась с печки и, старчески подбоченясь, спросила о судьбе сахарных кусочков:

— Аннушка, нешто сахар-то весь съели?..

— Нет, маменька, остался.

— То-то!..

«Бабушка» Анна умерла, когда ей было всего около двадцати трех. После себя она оставила пятилетнюю дочку Ульяну, мою будущую маму, и трехлетнего сына Василия. И хотя их отец, Наум Осипович, был на виду, фактически его дети пребывали в полном сиротстве. Сначала за ними приглядывала бабушка, потом эти заботы взяла на себя тетка Ефимья, работящая жена младшего Наумова брата Федора.

Как я уже говорил, дед Наум обладал большими способностями к самым разным ремеслам. Ему было достаточно только раз посмотреть на какую-нибудь работу, чтобы произвести ее в точности. При этом он увлекался сам и увлекал своего младшего брата, который покорно следовал за ним, пока не убедился, что самое верное — это земля. Так они какое-то время вместе катали пимы, потом Наум соблазнил Федора делать и обжигать глиняные горшки. Это их предприятие раскололось при реализации первой же продукции. Погрузив горшки в два больших короба, зимней дорогой они отправились по деревням. К несчастью, впереди них уже проехали какие-то горшечники. Прижимистые бабы смотрели горшки, прислушивались к их звону, но брали редко. На них не было глазури. К тому же при переезде в одну из деревень, раскатившись на спуске, сани ударились о пень. Плохо упакованные горшки трагически хрустнули. Посмотрели — полкороба черепков. Тогда братья переглянулись, выругались, расколотили на том пне все свои горшки и хлестнули лошадей.

После этого они подались в Томск, где подрядились гонять ямщину до Иркутска и обратно. Эта работа была трудной и опасной. В путь отправлялись большими партиями, чтобы в случае нападения разбойников, что случалось довольно часто, защитить и себя и хозяйские товары. После одной стычки с варнаками, в которой Наум

проявил смелость и силу, среди иркутских и томских ямщиков за ним утвердилось прозвище Ермака Тимофеевича.

Вскоре пути братьев разошлись. Еще не старый вдовец продал двух своих ямщицких грузовозов и купил лошадку на легкой рыси, а к ней пролетку, повязался многоцветным шерстяным кушаком и стал популярным извозчиком Томска. Младший брат Федор, как более практичный, не меняя лошадей, подался в Марьевку пахать и сеять. Не имея своих детей, он усыновил племянника, потому что в те времена из детских душ землей наделялись только мужские. Маму пристроили прислугой к известному в Томске провизору, имевшему свою аптеку. Работая там, она узнала лечебные свойства многих трав и научилась пользоваться ими. Она рассказывала про себя много смешных историй. Однажды ее послали в магазин за продуктом с незнакомым названием, которое, войдя в магазин, она вдруг забыла. На вопрос приказчика, что ей надо, мама долго молчала, а потом выразила название движением руки.

— Туда-сюда...

Продавец догадался.

— Киш-миш?..

Но вернусь к деду Федору. В Марьевку он привез три чуда тогдашней цивилизации, дотоле неизвестных ее жителям: железную печку, самовар и керосиновую лампу со стеклянным пузырем. В доме собрался народ и удивлялся, что печка согрела избу за десять минут, самовар вскипел сам, а лампа осветила все темные углы. Это сразу же принесло ему уважение мужиков, которое он всю жизнь потом старался поддерживать не только справностью хозяйства, но и своим видом. Во все присутственные места, а также в гости он пожизненно ходил в одном и том же картузе с темнобархатным околышком и лакированным козырьком. Одним словом, младший брат окреп на земле, завел свою пасеку. Городские же дела

старшего пришли в упадок: охромела лошадь, износилась пролетка. Позванный из деревни, он без долгих раздумий согласился приглядывать за лесной пасекой брата.

Не знаю, сколько прошло времени — год, два, — только случился лесной пожар. Красный косматый зверь, гонимый ветром, с треском продирался к пасеке. Дед Наум, теперь уже дед по возрасту, схватил лопату и побежал окапываться. Огонь с размаху наскочил на его защитную полосу, побушевав десяток минут, сначала пополз, а потом побежал вдоль черной межи следом. А дед копал и копал, стараясь все время опережать дикую стаю огня, более дикую, чем волчьи стаи, которые ему приходилось встречать в зимних разъездах. Он копал — и получался защитный круг для братовой пасеки, но не для себя. После двухчасовой борьбы с огнем дед вышел победителем, но подошел к роднику, бросил лопату, припал к студеной воде — и уже не поднялся...

Пишу обо всем этом, как о близком, лишь из чувства душевной сопричастности к людям и событиям. Бывшие в давности, они создавали нравственную атмосферу нашей семьи. Из прошлого к нам доходили отдельные бытовые картинки, отдельные фразы, воссоздающие их, как дошел до нас многоцветный дедов кушак, радужными нитками которого мы часто играли в детстве. В связи с этим в моей родословной меня более всего поражает какое-то устойчивое наследственное сиротство, к тому же в одном варианте парности. Прабабушка идет из Сибири в Киев и разыскивает своего братца, когда-то отданного в чужую семью. Ее внучка и внук осиротеют и будут жить тоже по чужим людям. В то же время в другой семье возникает такая же ситуация: Митька с Моткой будут искать свою судьбу. И вот два сиротских побега в силу какого-то предопределения, вопреки всем помехам, соединятся. Когда мама заневестилась и к ней потянулись женихи, среди них были парни из богатых семей, но она предпочла бездомного Митьку.

Мама росла бойкой, острой на слово, голосистой, без тени смирения и покорности своей рано умершей родительницы. В сердечных делах ради Митьки она шла даже на обман бабушки, прочившей ей какого-то богатенького Тишку. Заслышав хихиканье внучки и заподозрив, что ее провожает Митька, бабушка открывала окно и грозно приказывала:

— Ульянка!.. Домой!..

— Бабушка, это Тишка!

Окно закрывалось, и Митька с Ульянкой могли уже безнаказанно простаивать под окном до рассвета.

Вполне вероятно, что в отношении ко всем другим ребятам типа Тишки на маму действовал закон социальной несовместимости. Известно, что богатые семьи лишь в редких случаях допускали в свою среду бедных, так и бедным уже не хотелось союзом с богатыми терять своей независимости. Эту мысль можно подкрепить и тем, что познакомились мои родители в преддверии нового века, заявлявшего о себе не только календарно: в двенадцати километрах от Марьевки строилась железная дорога. Она подходила к речке Яя, там начали строить мост, неподалеку от ветхого домика, где Наум Осипович с братом катал пимы, а его пятнадцатилетняя Улька таскала им из речки воду. При катке пимов требовалось много воды, так что Ульяна часто бегала с ведром как раз к бережку, где на кладке каменного быка работал семнадцатилетний Митька из Марьевки. У нее было такое поношенное платьишко, что когда бежала к реке, то прихватывала рукой его левую сторону, а когда поднималась от реки — правую. В глазах Митьки эти манипуляции с платьем выглядели кокетством. Он стал приглядываться к ней, и, чем больше приглядывался, тем больше она ему нравилась. Да и молодой каменщик хорошо ей запомнился, если два года спустя, приехав в Марьевку, она сразу же узнала его среди деревенских ребят. Вот те-

перь-то в качестве громоотвода им и пригодился богатый и благопристойный Тишка...

В ее окончательном выборе жениха было много и от мистики. Все ее девичьи гадания прямо и косвенно указывали на одного. Валенок, брошенный через забор, падал носком в его сторону, имя жениха, спрошенное ночью под чужим окном, всякий раз звучало — Митька. Было еще два вида гаданий, благоприятных для него. В ночь под Новый год девушки выбегали на чистый снег и падали навзничь, оставляя на снегу свои контуры, а утром шли проверять: если на контуре есть посторонние следы, — значит, будущий муж будет бить, если следов нет — семейная жизнь пойдет мирно. Случалось, все другие контуры оказывались исхлестанными, а на мамином — ни царапинки. Тогда она не догадывалась, что это была Митькина работа: контуры других он исхлестывал, а ее, чтобы не отпугивать, оберегал. Гадание не обманывало маму и насчет будущего достатка семьи. Девушки подбегали к частоколу и, раскинув руки, охватывали его как можно больше, а потом охваченное пересчитывали в парном порядке: «сусек-мешок, сусек-мешок...» Если последний счет падал на «сусек», значит, семья будет жить богаче, если на «мешок» — значит, бедно. Маме, гадавшей на Митьку, всегда выпадал «мешок».

В довершение всего, когда однажды, ночуя в чужом доме, она загадала: «на новом месте приснись жених невесте», выпал ей сон, будто едет она под венец с Тишкой... Все в лентах — дуга, гривы, — кони мчатся, кошева летит, а за кошевой бежит Митька с березовым поленом. Бежал-бежал да как запустит поленом вслед... Проснулась, рассказала хозяйке, а та и говорит:

— Э-э, милая, выйдешь не за того, с кем ехала... А будет тебе мужем тот, кто поленом вдогонку бросил...

Сон оказался в руку. Раскольница благословила ее деревянной иконкой с двухперстной богоматерью, которая потом еще и при мне стояла в нарядной компании орто-

доксальных святых. На этом приданое и ограничилось. Но молодожены не печалились. В Марьевке родились Андрей и Петр. Казалось бы, с ними-то и осесть на земле, но, посеяв два-три гектара хлеба, отец отправлялся в город на заработки. Однажды в отсутствие отца в деревне начались пожары. Люди не спали ночами. Когда отец вернулся, мама настояла на том, чтобы уехать в город. Сложили в телегу пожитки, посадили в нее детей, привязали к задку телеги корову и поехали в Анжерку на шахты Михельсона. В Анжерке родились: Татьяна, Пелагея, Василий-первый, Антонина, Иван, Зинаида.

Росла семья, росли заботы, но жизнедеятельный глава семьи справлялся с ними довольно легко. У него, работавшего каменщиком, еще оставалось время на удовлетворение многих своих страстей и страстишек. Дмитрий Харитонович любил бороться, драться на кулачках, играть в карты и орла, но его самой главной страстью были лошади. Он водился с цыганами и часто менял свою единственную лошадку на все новые и новые — гнедые, пегие, соловые, не всегда лучшие прежних. Иногда приводил на двор красивых, но обезноженных, запаленных в беге и опоенных. Долго возился с ними, выхаживал запарной травой, бинтовал ноги всевозможными компрессами и, когда красивая лошадь становилась на ноги, мчался на ней в шумный цыганский табор.

В общем-то все дети были сыты и одеты, но страсть отца к азартным играм иногда приводила к семейным скандалам. Однажды, ускакав на лошади, он вернулся домой грустным пешеходом. А утром надо было ехать ему по воду. Мама, конечно, вся кипела.

— Ульянка, а где коромысло? — робко спросил отец.

— Нет тебе коромысла!.. Запрягайся сам!..

Отец действительно взялся за оглобли.

— Разве так возят! — воскликнула мама.

Не успел бедняга сообразить, как на его шее оказался оставшийся от лошади хомут. Он прямо в хомуте — за

пой, но она быстренько — на крыльцо, в сенцы — и дверь на щеколду. В детстве мне было странно слышать, чтобы такие большие, как мама и отец, занимались столь несорьезными делами, но теперь, оглянувшись назад, я ахнул от удивления: при восьми детях они были еще совсем молодыми. Отец пробыл без лошади всего два-три дня, а потом привел какую-то коростливую, стал снова выхаживать ее до цыганской кондиции.

Во время таких инцидентов между родителями, разумеется, возникали острые дискуссии. На упреки в беззаботности и лености у отца был наглядный аргумент. Прямо в окно смотрелась высокая кирпичная труба электростанции его кладки. Разгневанный, он подбегал к окну и, тыча пальцем в стекло, шумел:

— Вот!.. Вот, туды-растуды, моя работа!.. А где твоя?..

— А-а, где моя?! Ребятишки, ко мне!..

Несмотря на высокий авторитет трубы, выложенной отцом, мамины упреки становились все настойчивей.

Мама хотела, чтобы самый старший, Андрей, начал учиться, но в школу из рабочих принимали только тех, у кого отцы работали на подземных работах. Дмитрию Харитоновичу подземная работа ой как не нравилась, да и само образование он ставил не так высоко, чтобы приносить во имя его большие жертвы. Но мама его допекла. Как назло, в шахте его поставили, а вернее, положили на самую грязную работу. Подцепив крючком корыто с углем, он должен был выволакивать его на боку из низких забоев к штреку. Все свое презрение к новой работе отец перенес на веревку с крючком, которую приносил с собой и именовал не иначе, как «сукой». Зато какое изумление охватило родителей, когда их сын прочитал несколько фраз из букваря. Мама даже не поверила, а повела грамотея к знакомому попу, чтобы тот подтвердил сыновнюю грамоту. Намного позднее, когда Андрей стал волостным писарем, уважение к его грамоте однажды больно удари-

ло по самолюбию отца. Подойдя ко двору, знакомый мужик окликнул:

— Митька!.. Андрей Дмитрпч дома?..

Отец покрыл его шахтерским матом.

— Я тебе Митька, а мой сопляк — Андрей Дмитрич?..

Несмотря на многие неудачи, отец до конца своих дней продолжал увлекаться лошадьми. В то время они нужны были даже в городе, для личной обслуги — привезти воду, дрова, уголь, муку, картошку, поэтому игра в лошадей велась попутно. Иногда отец предпринимал на своей очередной сивке-каурке побочные трудовые акции. Так однажды он подрядился посадить перед окнами у новой городской больницы тополя. Да, видно, был мой родитель с похмелья, заехал не туда и привез вместо тополей осины. Они и теперь шумят еще под окнами старого здания.

Не случайно стихи об отце я начал строкой: «Мой отец конокрадом не был...» Дело в том, что однажды настоящие конокрады увели лошадей с таким хитрым расчетом, чтобы подозрение непременно пало на лошадника-отца. К его счастью, всю ту ночь он пробыл на мельнице, где в ожидании очереди на помол болтал с мужиками. А участь конокрадов в ту пору была известна: их судили своим мужицким судом, вернее, приводили в исполнение заранее вынесенный приговор. После этого случая мать заявила: «Ну теперь тебя от дружков совсем не оторвешь!»

Отец все время ходил где-то на грани добра и зла. Видя его азартные игры, кулачные бои, частые магарычи, жулики и мошенники все время крутились около него. Так однажды в его баню напросились пожить приличные на вид люди. Насмотревшись на ораву детей, один из них заговорил с отцом о том, как, должно быть, трудно накормить, одеть и обуть их всех, да еще и себе на рюмку выкроить. Разнеженный сочувствием, родитель начал исповедоваться, сколько нужно труда и сообразительности,

чтобы держать семейные вожжи в руках и сводить концы с концами. Постоялец внимательно слушал, особенно ту часть исповеди, где шла речь о его, Митьки Лехина, изворотливости и сообразительности. Видимо, впечатление от рассказанного было достаточно сильным, если постоялец после слов отца о том, что для такой семьи денег ковать не накуешься, вдруг заговорил сам.

— Не скажи, Дмитрий Харитонович, если ковать с умом, то и на хо-о-роших лошадок останется!..

Одним словом, постояльцы оказались фальшивомонетчиками. Отцу они предложили участие в их предприятии, видимо рассчитывая на него как на денежного реализатора. Отец хоть и был гулякой, игроком и лошадником, а на такое дело не пошел.

— Игра-то беспроигрышная, не то что теперь у тебя! — убеждал его фальшивомонетчик.

— Если беспроигрышная, значит, это уже не игра... — философствовал струхнувший отец.

Фальшивомонетчика из отца не получилось. Когда же обо всем этом узнала мама, то досталось всем — и отцу и постояльцам. Она тут же собралась топить баню, но постояльцы отпросили не делать этого до следующего дня, сказали, что пошутили с отцом, и тем ее успокоили. Вечером пили чай, и, когда самовар опростался, один из постояльцев попросил его до утра, а утром принес изукрашенным гравировкой. На его посеребренном боку живописной старославянской вязью были врезаны инициалы отца, под ними — натуральный рубль в его двустороннем виде орла и решки с профилем Николая последнего, должно, в напоминание о переменчивой доле игрока. Говорит, в трудные минуты жизни отец с грустью поглядывал на этот рубль.

Тот самовар с монограммой отца был поильцем нашей семьи до Отечественной войны. Мать рассталась с ним, откликаясь на призыв — сдавать медь и цветные металлы в фонд обороны. Помню, в детстве монограмма на самова-

ре вызывала у меня особое чувство. Отца уже не было, и смутная память о нем совсем бы погасла, если бы не знакомые инициалы, подтверждавшие, что отец — не выдумка старших.

Итак, нас было уже восемь детей. Написал и заметил, что допустил ошибку. Сказать «нас» я не имел права, потому что меня среди восьмерых еще не было, но, судя по оговорке, очень хотел появиться. Почему-то для моего рождения Анжеро-Судженск оказался неподходящим, и родители решили переехать в Кемерово, тогда еще небольшой городок, начавший бурно разрастаться. На первый случай поселились в Щегловке, в шахтерском бараке, рассчитывая в будущем на выделенном участке поставить свой дом. Но этим далеко идущим планам не суждено было сбыться. С востока надвинулся Колчак, с запада нахлынули мятежные чехи во главе с офицером ветеринарной службы Гайдой. Стало не до слишком далеких замыслов. Зато в отношении моего рождения все сложилось более или менее благополучно.

Родился я в 1918 году не то 23 февраля, не то 7 марта. При получении паспорта на мой запрос мне выслали метрику с мартовской датой, а несколько лет назад — с февральской. Дело в том, что календарная поправка была внесена в год моего рождения, когда в Сибири орудовали Колчак и Гайда, которые советских установлений, разумеется, не признавали. Одним словом, впредь до выяснения имею два праздника и промежуток между ними.

Рожденный в городе, считаю себя целиком деревенским. Мне и года не было, когда семья, в которой я был девятым ребенком, переехала в деревню. Фактически я стал восьмым. Василий-первый до моего рождения заболел и умер, и, как недоношенная одежда в большой семье обычно переходила к младшим, его имя по тому же принципу досталось мне, о чем никогда не сожалел, хотя рано понял, что вместе с ним я принял лишнее обязательство перед жизнью. Возможно, отсюда у меня повышен-

ное чувство преемственности и ответственности перед уходящим поколением, что не раз отмечали критики.

И на этот случай переезд в Марьевку был затеян мамой. Прокормить ораву ребятишек в городе рабочему-камонщику в то время не было никакой возможности: почти ничего не строили, только разрушали. А в деревне и у отца, и у матери были родственники. На земле, как только полезет травка, считай, что ребятишки накормлены — кандыками, саранками, пучками, кудрявками, баранчиками и еще множеством съедобных трав, а когда приспеют ягоды — и того надежнее. В городе же материальная скудость могла еще усугубиться при очередной колчаковской мобилизации, подступавшей к отцовскому возрасту. А на старшего сына, Андрея, надежды никакой не было, наоборот, шестнадцатилетний подросток для благополучия семьи начал сам представлять опасность. Первый грамотей семьи, он устроился на шахте табельщиком, что не могло не радовать отца и мать. Однако вскоре знакомые стали им докладывать, что их сын нелегально собирает деньги среди шахтеров в помощь семьям арестованных Колчаком. Отец, далекий от политики, был решительно против этого, а мама из доверия к грамоте сына и по доброте душевной приняла его сторону. Вмешательство отца ни к чему не привело.

Думаю, на переезд в Марьевку повлияло и желание родителей отвести удар от «кандидата на тюрьму». Брат в тюрьму не попал, но от политики его не увезли. В год переезда, в 1919-м, Андрея уже по всей форме приняли в партию, а с восстановлением Советской власти направили на какие-то партийные курсы, кажется, в Омск.

В Марьевке мы поселились не в самой деревне, а под горой, около озера, где вместе с нашим стояло всего четыре домика. С горы казалось, что эти домики шли-шли к деревне, остановились перед горой, а взобраться на гору уже не хватило сил. Символически так оно и было. Здесь

остановились семьи, чей достаток и отношение к нему определялись одним словом — «подгоринские».

Переезжая в деревню, родители рассчитывали на более надежное место, а попали в самое пекло гражданской войны. Марьевка оказалась деревней партизанской, отказавшейся поставлять Колчаку солдат, за что несколько домов в ней было сожжено, десяток мужиков арестованы, а все остальные, за редким исключением, выпороты шомполами. На этот раз мой отец, как новосел, под экзекуцию не попал. Ему досталось поздней. Колчак и Гайда начали отступать и для борьбы с партизанами все чаще стали насылать на деревню свои отряды. Днем их узнавали издали по коротким хвостам лошадей, а ночью — по особенному, остервенело-злобному лаю собак, что доносился сверху в нашу четырехдомную Подгоринку. Заняв деревню, те непременно ставили свои дозоры на спуске горы. Одним вечером мама со мной на руках ушла наверх помыться в бане. Стемнело. Вдруг из деревни долетел истошный собачий лай. Там появились колчаковцы. Маме пора бы вернуться, а ее все нет. Начали беспокоиться. Наконец она появилась возбужденная. Оказывается, баню окружили солдаты и приказали выходить. Перепуганные женщины начали упрашивать маму, чтобы она подошла к двери и поговорила с ними.

— Поговори, ты в Кемере жила.

Мама подошла и заговорила по-старушечьи:

— Солдатики!.. Здесь старые да малые моются...

— Ну, мойтесь, мойтесь, старые ведьмы!.. — и ушли.

Видимо, мамина репутация горожанки и то, что она смогла утоворить колчаковцев, зафиксировалось в памяти отца. Однажды при случае он и сам решил не подкачать. Наша Подгоринка примыкала к озеру Кайдор, к маленькой речушке Кизисле, впадающей в него, и лугам с густыми зарослями тальника, черемухи, калины, что, естественно, делало Подгоринку явочным пунктом партизан. Вот почему колчаковцы внимательно следили за пе-

родвижением людей в этих местах. В один из наездов они задержали здесь деревенского мужика и начали допрашивать, где находятся партизаны. Мужик в ответ только мычал. Колчаковцы, подозревая в нем партизана, начали хлестать его нагайками. Тогда-то видевший это отец и решил показать себя. Он с достоинством вышел из-за дома и молвил этак по-домашнему:

— Что вы, господа-солдаты!.. Он же — немой...

— А-а!.. А ну-ка ты, с языком, поди сюда!..

Отец не торопясь подошел.

— Ну так сказывай, где ваши бандиты?

— Не знаю, господа-солдаты... Я ведь недавно переехал из Кемерово... — начал было отец.

— Ага, не знаешь! — прервал его господин-солдат и несколько раз полоснул нагайкой по широкой спине.

Так, уехавший от политики, отец получил первый урок политграмоты. С этого дня он заметно подобрел к своему старшему сыну. Если его прежние отношения с партизанами строились на личных пристрастиях, на родственных чувствах, были среди них и родственники, то теперь ко всему этому прибавился новый мотив. Таким образом, выражаясь нынешним языком, отец получил марьевскую «прописку».

Позднее мне было странно слышать разговоры о городе. Я даже не представлял, что можно было жить где-то, кроме Марьевки. Она и поныне стоит на высоком берегу древнего русла. Под нею озеро, окаймленное зарослями черемухи и калины, за озером — заливные луга, устланные цветами, за лугами — быстрая пескаревая река с белесой гладью, с береговыми скулами выгибов, за рекой — зеленый лес с темными пиками кедров и далекий туман. Но в нем еще нет конца. В солнечный день за ним далеким-далеким амфитеатром поднимаются новые поля и перелески. Осенью, когда созреют хлеба, на закате они особенно красивы. На всем уже лежит тень, а этот приподнятый окоем на десятки верст полукруга

все еще светится и отливает золотом. Когда все это однажды одним махом открылось моему взору, я онемел от изумления и полюбил на всю жизнь.

Оборачиваясь к истокам жизни, я остро чувствую, что после своего первого рождения я рождался еще несколько раз. Мне крепко запомнились эти рывки в жизнь. У нас была передняя и кухонный закуток, где обычно мама орудовала ухватами, чугунками, сковородниками и сковородками. Старшие братишки и сестренки играли со мной в передней, отец сидел на лавке около стола и время от времени возражал матери в споре, которая отрываясь от печи, то и дело появлялась в дверном проеме и давала пулеметную очередь по совести супруга. Потом она сказала что-то такое, чего отец не выдержал и ударил по перегородке так, что кровь брызнула из тяжелого кулака. Это было похоже на взрыв... Братишек и сестренок смыло, как воздушной волной. И тогда я увидел себя, одиноко сидящим на полу, испугался одиночества и заплакал. Так на третьем году моя память впервые подключилась к жизни. Слава богу, что вскоре же у моей памяти появилось нечто доброе, бесконечно светлое, чувственно зримое...

Помню, Андрей, приехавший в отпуск, повел нас к озеру купаться. Те, что были постарше, начали самостоятельно бултыхаться у берега, а он, заставив меня держаться за плечи, поплыл со мной на середину. Небо было синее в легких облачках, вода была тоже синяя и бездонная, как небо. И там, в глубине, плыли такие же облака. А вода была теплая и легкая, подобно тихому ветерку. И мне казалось, что плыли мы между двумя небесами — в бесконечности, и, когда возвращались к берегу, он стал вроде бы совсем другим, каким-то сказочно-странным. И все — чудо!..

Ах, как мы недооцениваем всего того, что с нами происходит в детстве! Сколько раз в минуты душевной придавленности приходило ко мне вот это спасительное ска-

лочно-странное видение мира — вещей привычных и надоевших. В такие моменты как бы рождаешься заново, возвращаешь себе изначальную жажду жизни и деятельности.

Очень много дал мне наш переезд на гору. Не сам переезд, а то, что за ним пришло. К этому времени, успев оставить мне еще двух братьев — Иннокентия и Григория, отец умер от тифа. Это случилось в голодный 1923 год. Старшим мужчиной в семье стал восемнадцатилетний брат Петр, уже коммунист и организатор комсомольской ячейки. Покупка дома ошеломила всех. Еще бы! После отца осталась целая куча полуголодных ребятишек, а тут на тебе —дом!.. Хоть не в самой деревне, а в боковой Забегаловке, но все же на горе и к тому же со всеми надворными постройками — амбаром, баней, хлевом, избушкой, крытым сараем и ригой. А секрет был прост: в деревне начались новые отношения. Как-то после партийного собрания бывший партизан, секретарь партийной ячейки Андрей Ильич Ионов, по-уличному Илюхин, заговорил, что собирается продавать свой дом. Начали спрашивать, дорого ли возьмет, хлебом ли, деньгами ли?

— С богатенького взял бы как надо, а вот с Петьки возьму недорого.

Брат воспринял его слова как шутку.

— А я серьезно говорю. Покупай!..

— На что же я покупать-то буду?

— Сторгуемся... Рассрочку дам!..

И действительно, в тот же вечер договорились, что брат выплатит шестьдесят пудов пшеницы в течение трех лет. Условия были неслыханно легкими, на которые, поразмыслив, Петр согласился. Прибежал он в нашу Подгоринку радостный.

— Мама!.. Я дом купил!..

— Какой еще дом?!

— Андрюшки Илюхина...

— Ты что, в спектакль играешь?

— Нет, мама, играю в новую жизнь. Готовься к переезду!..

Дом, в который мы переехали, хоть и был старый, но еще вполне жилой. В нем, кроме передней, так называемой избы, была еще просторная горница. Русская печка стояла в простенке горницы так, что на печке был довольно вместительный и уютный уголок, где мы, самые младшие, отсиживались потом в зимние стужи. От печи начинались широкие полати, где можно было не только спать, но и затевать нехитрые детские игры. Так что наши домашние коммуникации охватывались теперь формулой: «С печи на полати, по брусу — домой».

Волею судьбы наш дом оказался рядом с домом дедушки Федора и маминого брата дяди Василия. Между нашими дворами, от сарая до дома, стоял бревенчатый заплот. Вскоре после нашего переезда он был заставлен дровами и сочеными березами. Видимо, дедушка Федор испугался, что ребятня двух дворов установит прямые череззаборные связи. Но ни мама, ни Петр не придали этому значения. В семье были открыты новые основы родственности — не по бабушкам и дедушкам, а по Ленину. Укрепиться в понимании такого родства нам помог коммунист Андрей Ильич Ионов. До сих пор в наших семейных святцах его имя на одном из первых мест.

Для меня переезд на гору оказался особенно кстати. В это время я открывал себе мир. Однажды сестра Тоня повела меня через главную улицу к обрыву. И тогда я увидел все озеро сразу, и увидел тот лужок, на котором мы жили. Оказалось, что он был маленьким уголочком по сравнению с лугом, который открылся за озером. И еще я увидел речку, что петляла в тальниковых и черемуховых зарослях, подбегала к озеру, а потом снова уходила куда-то. Единым взглядом я увидел все, что лежало и поднималось до самого горизонта, похожего на края огромной зеленой чаши.

В ту ночь я долго не мог уснуть — все вспоминал, чем

же был наполнен увиденный мною простор? Некоторые детали — вековая лиственница, например, — лезли на глаза отдельно, не становясь в общую картину. Вернее, она бегала по всей картине и не хотела нигде остановиться. На другой день я стал просить сестру, чтобы она снова сводила меня к обрыву, и тогда я закрепил в памяти непокорное дерево, а вместе с ним и невероятный вывих реки. Простор требует памяти и воображения. Его надо заполнять работой ума и сердца. Бездна тем и страшна, что заполнить ее нечем.

Старшие долго не могли привыкнуть ни к утрате отца, ни к новому дому. Однажды за ужином, когда за столом собрались все, мама кинула взгляд вокруг и вздохнула: «Если отцу на том свете скажут, что мы купили дом, он ни за что не поверит!» И в который раз невольно заговорила о нем. Оказывается, вдобавок к азартным играм, кулачным боям и увлечению лошадьми отец любил еще и красивые слова. Зипун, и без того слово нерусское, он называл хламидой: «Ульянка, подай-ка мне мою хламиду». Мать с умилением рассказывала, как при переезде в деревню, он, неграмотный, по верстовым столбам таежного тракта ухитрялся узнавать, сколько проехали. Сама она не умела и этого, тем не менее ее влияние на меня в смысле поэзии было большим. У нее был хороший голос, а память хранила множество народных песен, даже таких, которых я не смог потом найти ни в одном из песенников, ни в одном из фольклорных сборников. Позднее, когда я уже учился на заочном отделении Литературного института, мамины песни выручили меня на экзамене по фольклору, а сдавал я экзамен самому Шамбинаго, главе исторической школы советской фольклористики. Он любил принимать экзамены платоновским методом, то есть беседуя во время ходьбы. Группа молодых поэтов, в которой был и я, сопровождала его к Никитским воротам, а он, большой, старый, грузный, задавал нам вопросы и слушал.

— А ты, голубок, — обратился он ко мне, — расскажи о мифологической школе и песнях Афанасьева...

Грешен, если о мифологической школе я еще кое-что знал, то сборников Афанасьева, занятый другими экзаменами, прочесть не успел. И тогда я решил рассказать ему о маминых песнях, которые хорошо помнил во множестве.

Во погребе бочоночек катается,
Он катается, он валяется.
А Василий над женой раскуражился,
Он куражится и черемонится.

Шамбинаго слушал меня внимательно, и тогда, ободренный его интересом, я разошелся почти на весь мамин репертуар, не меняя в текстах ни строчки. Напевая свадебно-обрядовую песню, она, например, вставляла мое имя.

По сенюшкам Авдотьюшка гуляла,
По новеньким Авдотьюшка ходила,
Из кармашика орешики челкала
И в оконушко шелушицу бросала,
В Васильевы кудри попадала,
Димитричевы кудри воспетляла,
Чтобы, чтобы Васильюшка оглянулся
И своей красавице восмехнулся...

Старик давно остановился и, когда я закончил чтение, удивленно спросил:

— Голубок, откуда они у тебя? Про Авдотьюшку и про бочоночек ты мне обязательно перепиши...

Один из критиков однажды заметил, что в моих стихах и поэмах много снов. Что правда, то правда. Это, наверно, от моей мамы, Ульяны Наумовны. Ей часто снились сны, притом почти всегда сюжетные. Она умела их рассказывать и разгадывать. Случалось, утром она говорила:

— Сегодня я, ребятишки, сон хороший видала... Вижу, что на левом мосточке белье полоскаю, а бабы на лужку холсты постилают и все в мою сторону. Один холст прямо

к мосточку подстелили. Смотрю, а по холсту ко мне гусь идет — идет вразвалочку, и никто его не гонит... Никак Петька приедет!.. Изаболь, походка была Петькина... Вот так шел... — и показывала, как шел гусь по холсту, и все мы видели, что походка у него была действительно старшего брата. И, глядь, в тот же день появлялся Петр.

У мамы была присловица «изаболь». Как-то, задумавшись о ее происхождении, я вдруг догадался: да ведь это от ее домашнего знахарства. У нее на случай наших болезней всегда были какие-то травки, корешки, а иногда и наговорное слово. Нас было много, и прибегать к наговору ей приходилось торопливо и часто, отчего «изойди боль» по законам кабалистики трансформировалось в «изаболь». Был случай, когда я на себе испытал ее врачебное колдовство. Мальчишкой лет двенадцати я работал колхозным водовозом, а воду черпал из подгоринского колодца. Наполнив примерно пятое-шестое полубочье, я вдруг почувствовал дикую боль где-то внизу живота. Мне еще удалось подняться на гору, но дальше управлять лошадью я уже не смог, а, скорчившись, лежал в обледенелых санях. Заметив, что лошадь тащит меня туда, где ее кормили, я свалился с саней и пополз к дому. Меня подобрали уже у дома и положили на печку. Мама быстро сделала какой-то отвар и дала мне выпить, а ночью, помню, еще раз поднялась ко мне, и я услышал ее быструю шепотливую речь:

Не мать,
Не жена,
Не невеста,
Здесь тебе, хворь, не место.
Место тебе, хворь, за горами,
Место тебе, хворь, за морями,
Место тебе, хворь, за лесами —
На кременьях,
На каменьях,
На сухих неньях.
Там и скорби,
Там и боли!..

И что же? На другой день я снова поил колхозников чистой колодезной водой.

А еще мама умела причитать по умершим. Она не плакала, а как-то по-своему прочитывала жизнь человека, и в общем-то простая жизнь становилась интересной. В родительский день, например, характер причитаний становился более похожим на отчет, что делается на этом свете. В ее причитаниях было много таинственного.

К моему сочинительству она относилась терпимо, даже потом, когда оно отрицательно сказывалось на нашем материальном благополучии. Никаких выгод от моего писательства она и не ждала, а если упрекала, то лишь за то, что я был при этом не очень разговорчивым. «Кешка с полей приедет, больше расскажет, — жаловалась она, — а Васька приедет из города и молчит». В детстве у меня был период, когда я от слов перешел к знакам: нужен за едой хлеб, покажу — и весь разговор. А слова во мне были, играли меж собой, но мне казалось, что, если я их произнесу, они от меня уйдут и не вернутся. Приходилось только удивляться, откуда столько слов брала старшая сестренка Зина — она говорила и говорила, а слова полетают-полетают — и опять к ней.

Позднее на меня большое впечатление произвел своей особой молчаливостью деревенский пастух Миша Дюрюжинский, у которого я месяца два-три пробыл в подпасках. Он происходил из польских дворян, давно осевших в Сибири. Говорили, до революции у его родителей была какая-то лавочка, а он еще тогда вел независимый образ жизни. Ходил Миша Дюрюжинский всегда чисто, а стадо пас в лаптях, но не от бедности. В лаптях было легко и удобно. Он и мне хотел сплести лапоточки, но я отказался. У нас в Сибири лаптей не носили. На мне были хоть и старые, хоть и великоватые, но все же сапоги. Правда, они вносили путаницу в отсчет времени, а время мы измеряли «лаптями». Делалось это так: становишься спиной к солнцу и на какой-нибудь былинке засе-

каешь свою тень, а потом, пяткой к носку — раз, пяткой к носку — два, измеряешь сапогами длину своей тени. Примерно на четырнадцатом «лапте» стадо надо было поворачивать в сторону деревни.

Наши лапти не совпадали. При моих сапогах не по росту следовало вносить поправку, которую я почти всегда завышал и поворачивал стадо раньше времени. На это пастух реагировал так: поднимал свою палочку и помахивал над головой, — дескать, отставить! У его палочки были удивительно ясные и выразительные по смыслу движения. Именно таким в то время я представлял Наполеона, поднимавшего и опускавшего свой повелительный жезл. Мама об этом, конечно, ничего не знала, потому и удивлялась, что я расту молчаливым.

Детству и отрочеству я обязан многими впечатлениями, которые в моей жизни имели потом большое значение. Впрочем, такого понятия, как отрочество, у нас в деревне вовсе не было. Из детства мы, деревенские мальчишки, перескакивали прямо в юность. А до скачка успевали пройти добрую школу труда. Мне довелось боронить, пахать, вить веревки, работать колхозным водовозом, учетчиком МТФ, младшим счетоводом, кассиром колхоза, помощником бригадира и даже... золотоискателем. Да, да, настоящим старателем.

Весной 1932 года я закончил шесть классов школы колхозной молодежи, а учиться в седьмом не стало возможности. Нашу немудрящую кормежку и общежитие раньше оплачивал Анжеро-Судженский горсовет, а делать это в новом году отказался. Тогда я решил махнуть в Томский железнодорожный техникум, но тут передо мной встало препятствие: мне не хватало почти четырех лет. Был я парнишкой рослым. В сельсовете, не имея на меня метрических записей, мне выдали справку о моем совершеннолетии. Однако из этого получился только конфуз. Мое детское сердце подвело меня. При медосмотре обнаружилось, что оно стучало чаще, чем ему полага-

лось по справке. Пришлось вернуться в полуголодную де
ревню.

До нового урожая было еще далеко. Хлеба в колхоз не выдавали, зато в торгсине, открытом в городе, был все — и крупчатка, и сахар, и колбаса. Мужики вспомни ли, что когда-то в пойме реки Яя мыли золото. Подгово рили и меня. Бывший заведующий МТФ Александр Его ров, прозванный Сашей Комиссаром, был человеком чу даковатым, с фантазией. «Весь торгсин заберем!» — го ворил он, потирая руки.

Для этого нам не хватало ворсистого сукна, чтобы вы стелить лоток бутары, на котором оседало бы золото У меня было пальтишонко, перешитое из поношенного пальто старшего брата. Ворс сукна был еще хорош и мо удержать в себе все золотые россыпи Яйской поймы. На слушавшись Сашу Комиссара, я решил принести жертв золотому тельцу. Отдирая сукно от легкой стежки вати на, Саша захлебывался от восторга, шепелявил еще больше.

— Намоем солотишко, купим борчатку со сборками на спине...

Когда лоток бутары был выстлан голубым сукном, мы прихватили еще тазик, две лопаты, два ведра и отправи-лись за озеро. На спуске с горы мы невольно замерли горделивом чувстве завоевателей. Перед нашими взорами открылось все заозерье, нашпигованное, как мы думали сплошным золотом. Река, выбегавшая из зарослей, отли вала золотой амальгамой.

— Ну!.. — сказал Саша, и мы решительно шагнули вниз.

За озером уверенность Саши как-то исчезла. Когда смотрели сверху, все принадлежало нам, а тут мы затоп-тались в нерешительности. Под ногами была песчаная земля, заросшая травой. Для промывки песка нужна бы-ла вода. Пришлось держаться около старицы, но

идесь — где копать? Тогда Саша взял камень и бросил его через плечо. Камень упал около боярки.

— Копай! — приказал он, и мы начали копать.

Дойдя до песка и гальки, мы взяли пробу. На дне таиника что-то блеснуло. После этого до заката солнца я таскал воду и ведро за ведром опрокидывал на лоток с песком. Весь день я ждал момента, когда золото из области фантазии перейдет в наш реальный мир. И этот момент наступил. Промыв лоток, Саша Комиссар дрожащими руками достал флакончик с ртутью. Из флакончика на голубое поле выкатился бойкий шарик, красивый не менее, чем золото. Дробясь и снова сливаясь в более крупные шарики, он забегал по сукну, вбирая в себя и растворяя те блестки, что осели между ворсинками. Когда шарики набегались по сукну и снова собрались в один, Саша сжег его на огне. На его месте осталась золотинка, чуть побольше спичечной головки. Солнце уже закатилось, а золотинка все еще блестела. С грустью я смотрел на большой ворох песка и на нее. Было что-то несуразное в их соотношениях. Между тем Саша радовался...

Поработал я с ним не больше недели и понял: не видать мне модной борчатки со сборками на спине. Такое название шубы, видимо, произошло как раз от «сборчатки», но в разговорной речи первая буква усеклась. А как я, принесший в жертву свое полупальто, мечтал о ней! Моему разочарованию не было предела. Страх наступающей кары стал вызывать во мне чувство презрения к нашим вечерним итогам — к морщинистым пупырышкам, похожим на желтых букашек. Пожалуй, с тех пор я совершенно равнодушен к золотым вещам. Но все же, когда я потом писал «Золотую жилу», во мне, видимо, подспудно сработала и память об этом эпизоде.

Не далась мне и карьера финансиста. Председатель колхоза Порягин попросил меня побыть кассиром. Тогда это было просто. Никто не спрашивал, сколько мне лет. В четырнадцать лет я был уже членом правления колхо-

за. Кассиром? Пожалуйста! Помню, продавали колхозных лошадей. Собралось денег тысяч двадцать трудовыми замызганными рублями. Полмешка денег! Куда с ними? Никакого сейфа не было. Взял на горб, притащил в дом, который, кстати, никогда не закрывался, швырнул под кровать. Подметая пол, мама наткнулась на этот мешок. Развязала, заглянула, ахнула.

— Откуда это?

— Колхозные.

Веник тут же загулял по мне. С этим же веником она примчалась в правление. Надо представить, что было там, если запыхавшийся председатель подкатил к дому, забрал меня и мешок для передачи его уже другому кассиру. И этот факт имел то последствие, что никогда потом я не брался за финансовые дела и избегал всего, что было связано с чужими деньгами.

Тот год был уже богатым. Колхозники получили по девять килограммов пшеницы на трудодень. У нас в горнице был устроен большой закром, наполненный пшеницей. В ней я прятал от любопытных братишек свои стихи. Иногда они их обнаруживали и надо мной издевались, что делало меня еще более замкнутым не только с ними, но и с мамой. Но и стихи я читал маме редко, потому что они были про любовь, а я по-детски думал, что мамы вообще в любви ничего не понимают, тем более в стихах.

Помню, в новосибирской квартире старшей сестры, где мы долго жили, был закуток, нечто вроде ванной, где ванны, однако, не было, а стояла деревянная бочка. В ней хранился мой литературный архив. Ко времени отъезда в Литературный институт имени Горького она была полной. Однажды, по приезде домой, мама подвела меня к этой бочке.

— Тут у тебя какие-то бумаги. Может, что не нужно, так отбери на растопку.

Бочка была большая. Запустил в нее руку, взял пер-

мое попавшееся. Посмотрел, ощутил какое-то смущение. Разбираться в хаосе бумаг не захотелось. Видимо, сказалось и высокомерие столичного студента к тому, что делал раньше. Сказал:

— Да бери все, только вот, где будут короткие строчки, это стихи, ты их оставляй.

Мама даже обиделась:

— Ну, разве я не понимаю. Где стихи, я вижу...

Годом раньше в такую же минуту стыдливости я сжег две общие тетради, сшитые вместе, по всем клеточным линиям с двух сторон исписанные стихами. Не менее двухсот стихотворений. До этого в литобъединении меня уговорили почитать свои стихи. Готовясь к чтению, я и начал перечитывать эту пухлую тетрадь. Как назло, почти во всех стихах, которые собирался прочесть, вдруг обнаружились постыдные недостатки. Вообще, я замечал, что недостатки в собственных стихах обнаруживаются быстрее, когда собираешься выйти с ними на люди. В это время рядом топилась плита...

Потом лишь в минуты душевной слабости я жалел об этом, когда память воскрешала отдельные строфы и не удерживала другие. Но в том-то и дело, что память возвращала только что-то стоящее, — значит, о выпавшем из нее не стоило жалеть. В этой мысли поздней меня уверил А. Твардовский. На Первом совещании молодых писателей я дал ему поэму «Марьевская летопись», которая ему понравилась, и он оставил ее у себя с желанием где-то напечатать. Однако месяца через два я получил от него письмо, в котором он посоветовал, чтобы я, отложив рукопись поэмы куда-нибудь подальше, переписал ее по памяти. Так что отдельные стихи из сожженной тетради возвращались к жизни почти по его мудрому рецепту.

В первом томе моего двухтомного издания два первых раздела и часть третьего составлены из стихов, оставшихся на дне той бочки и воссозданных памятью из пепла. Многие печатались впервые, некоторые из педагоги-

ческих соображений, чтобы начинающие не очень отчаивались при первых неудачах.

Читать я научился до школы, а писать — до того, как прикоснулся к чистой бумаге. Случилось это от большой нужды. У меня не было своих валенок, приходилось сидеть на полатях, смотреть сверху и слушать, как старшие торопливо готовили уроки, чтобы поскорее убежать на улицу. А писал я пальцем по воздуху, чаще всего в темноте или полумраке. Слово, написанное таким образом, долго светилось перед глазами. Тогда же я сочинил первое стихотворение. Оно было о поморах. Многие, более поздние, забыл, а начало первого помню:

Плывет моряк по морю,
И станет он тужить:
Неужто на той льдине
Ему придется жить?

Желание сочинять стихи пришло не случайно. Их сочинял брат Петр, да и другие грешили тем же. Стихи и частушки были идейным оружием. В деревне молодежные гуляния назывались «улицей». Идет группа ребят, девчат и под гармошку горланит частушки, нередко адресуя их хозяину или хозяйке ближнего дома, совершившим что-нибудь из рук вон выходящее. С другого края идет вторая группа, противница первой, — и тоже со своими частушками. Сходились у казенных амбаров. Начинался настоящий частушечный бой.

Удивительно, но факт: деревенские ребята с двумя-тремя классами образования, как у моего брата, выпускали рукописный сатирический журнал. Принять в нем участие был приглашен и Петр. Зубоскальная программа журнала Петру не нравилась, что он и выразил в стихах, из которых помнятся строчки:

Вы критикуете уродов —
Кривых, раскосых и слепых,
Но мы-то сами не уроды
И без журнала видим их.

Стихи он писал самые разнообразные — иногда серьезные, но чаще всего сатирические и шутливые. Общественная жизнь двадцатых годов, особенно в деревне, была бурной. Наделенные землей на равных основаниях — по душам, как мужским, так и женским, — бедные и богатые, однако, имели неравные возможности воспользоваться ею. Мы получили земли на 12 душ, на которые пало около сорока гектаров только пахотной, не считая покосной с логами и перелесками, а была у нас одна Рыжуха. В деревне был создан комитет бедноты, но возможности его в помощи бедным были все же ограничены. Среди сельских деятелей появились утешители, нечто вроде горьковского Луки, утешавшие бедноту видениями прекрасного будущего. Об одном таком утешителе, некоем Якове, брат сочинил шутливые стихи:

Яшка был большой мечтатель,
Вечно в воздухе парил,
И однажды па собраньи
Много новин говорил.

Среди Яшкиных новин были новины, теперь уже давно ставшие реальностью, например, обещание пахать без лошадей, но были и труднодостижимые даже в наше изобретательное время. Нажатием кнопки он обещал готовить и получать обеды, создавать дожди и громы...

Яшка просто лез из кожи
И руками разводил,
Потеряв рассудок здравый,
В стену пальцем надавил.
Мужики в испуге страшном
Отскочили от него,
Они ждали дикой бури,
Но не вышло ничего.

Может, об этом не стоило бы писать. Но мне хотелось дать ту атмосферу, в которой проходило мое детство. Все новые стихи брат прочитывал в семейном кругу, а уж

потом уходил с ними к своим товарищам. Для меня тогда это было событием. Известное выражение «поэтом надо родиться» я бы выразил иначе: «Поэтом надо делаться в детстве».

Братьям же, Андрею и Петру, я обязан ранним знакомством с настоящей литературой: с Пушкиным, Лермонтовым, Байроном, Купером, Лонгфелло. Ставшие комсомольскими, а потом партийными работниками, призванными в города, они торопились восполнить недостаток образования, особенно Петр. Если в разговоре с ними какой-нибудь эрудит называл неизвестного им писателя, поэта, они по-крестьянски старались не подать вида, что не знают их, зато в тот же вечер шли в библиотеку. В отпуск братья приезжали с тюками разнообразных книг, которые потом оседали в нашем доме.

Напомню: в семье я был девятым ребенком. Для биографии моей души это имело большое значение. Однажды, просматривая очередной привоз Петра, я натолкнулся на какой-то «ученый» труд, в котором говорилось, что талантливыми бывают только первые дети. Это меня уязвило. Я не мог признать своей обреченности и повел многолетний тайный спор с этой капитулянтской теорией.

Старшим братьям и сестре Татьяне я обязан не только любовью к поэзии, но и постоянным интересом к общественно-политической жизни. Наша семья дала восемь коммунистов. Подраставшие включались в политическую жизнь активно. Так, секретарями комсомольской организации в Марьевке последовательно перебывали все старшие братья и сестры. Был комсоргом колхоза и я. Слышал, как однажды мама пошутила: «У нас беспартийные — я да кошка». Наибольшим почитанием в семье пользовался Петр, хотя на него самого большое влияние оказал Андрей, лишь изредка наезжавший в деревню. Вскоре после того, как Петр купил дом и рассчитался за него, что для двадцатилетнего парня было подвигом, его призвали работать сначала в Анжеро-Судженский райком,

потом в Томский окружком комсомола, а там и на партийную работу. В отличие от старшего брата, успевшего поучиться, Петр все постигал, как говорят, собственным горбом. Он хорошо знал деревню и психологию крестьянина, умел разговаривать с ним. В конце двадцатых годов после окончания комвуза брат несколько лет проработал в Москве — секретарем парткома авиационного завода, а потом одним из секретарей Краснопресненского райкома партии. Видимо, не без его влияния мы с братом Иваном двинулись в Новосибирский авиационный техникум.

Во время коллективизации и организации МТС Петра командировали в родные сибирские края, где он работал начальником политотдела МТС и секретарем райкома партии. Здесь у него произошли две неприятности. Одна из них поздней стала казаться забавной, а в то время она, вероятно, попортила немало крови брату. Какой-то слишком «бдительный» человек написал, что под личиной Петра Дмитриевича Федорова, ответственного партийного работника, скрывается сын помещика, у которого он самолично проработал многие годы. Нелепость разоблачения была слишком очевидной, тем не менее только большой очерк, появившийся о брате в «Большевистской смене», погасил слухи о его дворянском происхождении. Когда эта история дошла до Марьевки, больше всех она забавила маму. Помню, босоногая, в старенькой юбчонке, она вышла на крыльцо и, входя в роль, подбоченилась.

— А чем не помещица?.. Сорок десятин земли было!..

Вторая неприятность была куда серьезней. Во многих местах Сибири тогда был неурожай. В районе, где работал Петр, в деревнях колхозники голодали, меж тем в государственных амбарах лежало зерно. Решительный и человечный, он на свой риск и страх открыл эти амбары, чтобы люди могли дотянуть до нового урожая и вернуть долг новым хлебом. Возникло «дело», которое сразу же из партийных органов — Петр сам был членом бюро Красноярского крайкома — перешло в другие. Видимо, инцидент

был признан настолько серьезным, что Молотов, проезжавший на Дальний Восток, остановившись в Красноярске, встретился с братом, после чего «дело» было прекращено.

Умер Петр в 1935 году от пустячной операции — от удаления аппендицита. Поскольку отца я помнил плохо, смерть Петра была самой первой и тяжелой моей утратой. За неделю до операции мы неожиданно увидели его в Марьевке. Оказалось, до него дошел слух, что его мать и братишки голодают и, побираясь, ходят по миру. Тогда он купил на рынке мешок муки и погнал райкомовского «козлика» из Красноярского края в Марьевку. Счастливый, что слухи оказались ложными, он обнял нас и лег спать, наказав мне почистить его сапоги. Вместо этого я побежал в березняк набрать земляники, а когда пришел домой, мой кумир уже натягивал на ноги запачканные в дороге сапоги, чтобы ехать обратно. До сих пор не без стыда вспоминаю, как я остановился перед ним с земляникой в зеленом кулечке из листа пустырника. Заметив мою сконфуженность, обувши сапоги, брат встал, притянул меня к своему плечу и удивился:

— О, браток, да ты скоро дотянешься!.. — и, высокий, красивый, начал прощаться перед дорогой... Ему было всего тридцать один год. Похоронили его в Красноярске. На другой день после похорон, когда мы уже ехали домой, старший брат Иван сказал мне, что он сочинил прощальные стихи и отнес на могилу Петра. Тогда мне казалось, что в такие моменты сочинять стихи даже как-то неудобно, но когда ночью я стоял у открытого окна вагона и слушал печальный перестук колес, в ритм перестука начали вписываться строчки:

Плакали горла труб,
Сердце сжималось больно,
Лепет прощальный с губ,
Горький, слетал невольно.
Ветер о жизни пел,

Будто, кружа крылато,
К жизни вернуть хотел
Мертвое тело брата.
Ветру напрасно петь,
Трубам рыдать надрывно...
Что же такое смерть,
Если сила бессильна?..

Брат Андрей погиб через два года. В отличие от Петра, поомужавшего в деревне, он был, в общем-то, человеком городским. Переезд в Марьевку прошел мимо него. Когда в молодости он бывал в ней, Петр частенько его разыгрывал, выдавая гречу за просо, а пышный овсюг за настоящий овес. Но после двух-трех приездов провести старшего брата младшему уже не удавалось. Двадцатые годы — время споров и дискуссий в партии. Спорили и братья. Тогда в нашем доме сходились деревенские философы и принимали участие в разговорах. Речи шли о судьбах страны, о путях в будущее — и все, конечно, в мировом «мачтабе». В этих спорах подавала свой голос и сестра Татьяна, ставшая потом секретарем деревенской партячейки. Чаще всего, будучи, как и Петр, реалисткой, она принимала его сторону. Сидеть в это время где-нибудь на полатях или за печкой и слушать горячие споры было для меня в высшей степени интересно. Из этих споров я, хоть и смутно, вынес то, что жизнь — не просто жизнь, а тогда жизнь, когда она куда-то движется, что те порядки, которые были вокруг, они не вечные и должны перемениться к лучшему, только вот как?

С Андреем был связан мой первый прозаический опыт. В деревне мы узнали, что у него умерла первая жена. Кажется, он тогда работал секретарем Томского окружкома партии. Мы просидели с мамой целый вечер и сочинили ему большое письмо, говорят, прочитав которое, он плакал. На этот раз моя роль не была только технической.

В последний раз его видели, когда он, будучи начальником политотдела Урало-Рязанской дороги, хмурый, вы-

ходил из кабинета Кагановича. Мы долго ничего не знали. В тот год ему было 36 лет. Страна была молодой, и молодыми были ее общественные деятели. Возможно, они допускали ошибки, но, судя по моим братьям и сестре Татьяне, ставшей уже пенсионеркой, их служение партии и народу было спартански бескорыстно. В этом была своя романтика.

Меня приняли в партию — кандидатом — в 1943 году. Не поступлюсь истиной, если скажу, что как поэт я родился из чувства социальной новизны, которым в огромной мере обладало старшее поколение. Тут нет моей личной заслуги. Просто это чувство не должно было пропасть. Все стоящее в моих стихах надо относить на счет этого чувства. И вообще, на долю поэтов — моих сверстников выпала нелегкая роль связующего звена двух поколений: того, что шло от Революции, и того, что пришло за нами.

Есть и нравственная сторона этой проблемы. Мне кажется, в больших семьях, как наша, вместивших разные характеры, представляющие разные сферы жизни, в семьях, остро переживших социальные переломы, рождение поэта — явление такое же закономерное, как Алеша в семье Карамазовых. Должна же на чьей-то душе оседать семейная соль, и не только, должны фиксироваться и осмысливаться проявления противоречивых характеров в движении и неизбежной дробности. Психологически в поэте такие семьи хотят обрести утраченное единство. Некоторые из этих мыслей были осознаны мной давно, но не сразу стали фактом поэзии.

Путь мой был до странности трудным.

Итак, писать я начал рано, а печататься активно очень поздно. Виной тому, вероятно, послужила моя первая попытка появиться в газете «Большевистская смена» — той самой, что напечатала в свое время очерк о брате. Это было в Новосибирске, кажется, в 1936 году, когда я учился в авиатехникуме. Послать стихи в газету меня натолкнул

тот факт, что на конкурсе техникума я получил за них первую премию. Друзья начали советовать: «Пошли... А вдруг!..» Подписался я семейным прозвищем: Василий Лехин. Для маскировки. Отослал и стал терпеливо ждать того номера, где... И дождался. В обзорной статье о присланных стихах от Василия Лехина летели клочья. Мои стихи оказались упадочными. Если бы автор критического обзора знал, что за стихами Лехина скрывается семнадцатилетний паренек, он бы не был таким строгим. Теперь подозреваю, что строгому рецензенту попали и такие мои стихи, в которых наверняка несправедливо я ополчался на высокую, стройную девушку, не заметившую моей любви к ней.

Пусть в тебя влюбится дракон,
Пускай возле твоей ограды,
Презрев извечного закон,
Шакал исполнит серенады.

А дальше — и того хлеще. И все же рецензент спутал упадочность с чем-то другим, может быть, с моей черноземной грубостью. С этими строками было ясно, но почему в разряд упадочных попало стихотворение, хоть и грустное, но далеко не безнадежное:

Серебрится водяная гладь,
Над водою клонит ветви ива.
Трудно, трудно грусть мне отогнать,
Как мечту о девушке любимой.
В мозг проник ее чудесный свет,
Память поцелуя стала ядом.
Мне и счастья больше уже нет,
Коли нет моей подруги рядом.
Берег тих — беги, беги, волна!
Ведь и ты грустишь о милом, ива...
Грудь отравой сладкою полна
При единой мысли о любимой.

И позднее, по поводу уже других стихов, я получал упреки за излишнюю печаль в своих творениях, что заста-

вило меня выработать защитительную формулу: «Грусть поэта — в том порука, что большое счастье есть».

Все же должен признать, что печаль моих ранних стихов во многом была наносной, хотя и душевной. Дело в том, что еще в Марьевке меня поразил своей бездонной печалью «Чайльд Гарольд» Байрона, особенно строки: «Любовь — болезнь, горьки ее кошмары...» Видимо, мой байронизм не выдержал натиска жизни, тем более в ее заводском темпе. Уже в 1939 году я напечатал несколько стихотворений и очерков в иркутской заводской многотиражке, одно стихотворение даже в областной комсомольской газете, но значения этому не придал, посчитав все случайностью.

Мастерская, где я работал старшим мастером, стояла на отшибе заводского двора. В нее стали наведываться сотрудники многотиражки — Василий Стародумов и Денис Цветков. Они приходили сначала к литейщику Алексею Куделькину, писавшему стихи и печатавшему их в многотиражке. Узнав, что я грешу стихами, они насели и на меня, затащили в свое литобъединение. Кроме стихов, по их заказу я начал писать для газеты очерки о рабочих своей мастерской.

Однажды, к моему удивлению, меня начали поздравлять с напечатанными стихами. Потом оказалось, что Денис Цветков отнес их в областную комсомольскую газету, где поэзией занимался поэт Иннокентий Луговской, который и напечатал стихотворение «К матери». Однако прежний разнос в «Большевистской смене» так на меня подействовал, что я постеснялся зайти в редакцию и познакомиться с Луговским, больше того, даже теперь вхожу в редакцию с тайным страхом. Если же стихи принимают хорошо, я начинаю относиться к ним подозрительно. По-моему, и то и другое — от застарелого самолюбия. Чувство собственного достоинства родилось во мне раньше самого достоинства.

В наше время работе с молодыми уделяется неизме-

римо большее внимание, чем тогда. В стране почти ежегодно проводятся совещания молодых писателей — областные, кустовые, республиканские, через каждые четыре года — всесоюзные. Слов нет, они сыграли большую роль в становлении молодых талантов. И сам я прошел через совещание, о чем не могу не вспомнить без благодарности. Но все же, на мой взгляд, в них таится и своя опасность. У некоторых в связи с ними может зародиться слишком много надежд, тогда как надеяться надо только на себя. Кроме того, молодой поэт, отруганный за слабость, может соблазниться успехом других и пренебречь своим жизненным материалом, а он-то в конечном счете и делает поэта.

Для моей литературпой судьбы большое значение имел тот факт, что после окопчания техпикума я около восьми лет проработал па авиационном заводе в качестве технолога, мастера, старшего мастера. До войны, в годы войны мне довелось строить самолеты разных марок и модификаций. Умение читать чертежи развивает воображение, приучает видеть вещи пространственно, одну и ту же деталь в нескольких плоскостях, в ее связях с другими деталями. Представьте узел деталей. Внешпе он выглядит сложно и запутанно, но достаточно найти главное сечение этого узла, чтобы связи тотчас обнаружились. Это легко перенести на психологические узлы человеческих отношений, внешне скрытых, но внутренне отчетливых и закономерных. Нужно только найти верное сечение. Это может избавить от лишней, чисто внешней описательности. По принципу таких сечений, на мой взгляд, написана поэма «Проданная Венера», да и в других вещах можно обнаружить элементы того же принципа.

В моем заводском труде было много однообразного, но было и подлинное вдохновение, не меньшее, чем при работе над стихами. Примерно за год до Отечественной войны мы начали осваивать новую конструкцию самолета. Помпю, в нашем цехе скопилось несколько

десятков аварийных деталей, без которых — даже без одной — самолет не мог получить жизнь. Мне предложили стать технологом-экспериментатором, чтобы в короткий срок найти технологические решения их изготовки. Решить эту задачу помогло мое увлечение поэзией. Мне нужно было обрести чувство материала. Наблюдая за его поведением, я как бы клал себя на его место и начинал почти физически ощущать, где ему тяжело и почему тяжело.

В Новосибирске я познакомился с профессиональными писателями. Там, в заводской многотиражке, я тоже напечатал стихи, поэтому при встрече с писательницей Анной Герман меня пригласили почитать свои стихи. В то время моя поэтическая программа выражалась формулой: «Мне фокус совмещенья дан — реалистическая ясность и романтический туман». Писательница нашла, что в моих стихах туману все-таки больше, чем ясности, но стихи взяла с собой и передала их поэтессе Елизавете Стюарт, встретившей меня потом насмешливо и дружелюбно. В моих творениях она нашла много погрешностей, несовместимостей реального с идеальным, но в то же время всегда подчеркивала наличие таланта. Поздней она выразила это с изящной язвительностью: «Вася, вы — ангел, у которого одно крыло всегда в грязи». В смысле построчной работы над стихом Елизавета Константиновна дала мне очень много. Она умела замечать и удивляться, когда вместо двух слабых строк, темнивших стихи, я вписывал строчки, на ее взгляд, даже лучше самой основы.

К тому же времени относится и мое знакомство с Александром Смердовым, Афанасием Коптеловым, Саввой Кожевниковым, Ильей Мухачевым. Мало-помалу они начали привлекать меня к работе отделения Союза писателей. Вхождение в литературную жизнь началось с обсуждения моих стихов, на котором, кроме писателей-сибиряков, присутствовали москвичи, ленинградцы и даже харьковчане,

жившие тогда в Новосибирске. На фоне многих выступлений, резких и снисходительных, мне запомнилась колоритная речь Ильи Михайловича Мухачева, долго молчавшего в углу. Один его глаз, окруженный сеточкой морщинок, упрямо глядел на меня, а другой — куда-то в сторону.

— Вот ведь, братцы мои! — начал он, раздувая ноздри. — Вы говорите о влиянии Блока. Что же тут плохого? Даже вошь имеет своих родителей...

Поздней мы сошлись с ним поближе. Строгий, даже ревнивый, при встречах он всегда интересовался моими новыми стихами, но не любил слушать их на людях, а отведет куда-нибудь в сторону и слушает. Оценок Илья Михайлович не давал, часто уходил, ничего не сказав, чуть ли не гордый оттого, что-де такой молодой, а лучше его написать не может. Стройный, в белой вышитой рубашке, заправленной в брюки, в легкой сетчатой шляпе, старый поэт уходил, оставляя меня перед неприступной крепостью своих стихов:

Товарищ! Возьмите, проверьте
Вот этот цветок голубой,
Быть может, в нем наше бессмертье
Горит неоткрытой звездой.

В его отношениях со мной была своя педагогика. Лишь через несколько лет он позволил себе говорить мне похвальные слова, притом в такой категории, которая вместо простой радости налагала груз новой ответственности. В эти минуты дефект его глаза был особенно выразительным: одним глазом глядел на меня и говорил хорошие слова, а другим обращался еще к какому-то высокому свидетелю. Как бы напутствуя меня в начале пути, в 1946 году Илья Михайлович посвятил мне удивительно прозрачное лирическое стихотворение с тонким педагогическим подтекстом:

Хмель золотист от стебелька до завитка,
Красны рябины гроздья, зелен луг,

Свой аромат у каждого цветка...
В природе все неповторимо, друг,
И потому для сердца так любима
Та песня, что ни в чем не повторима.

Известный поэт поддержал меня в трудное переходное время.

В тот год у меня появилась надежда перевестись с заочного отделения Литературного института на очное, но, пока я хлопотал об увольнении, такая возможность была утрачена. А хлопоты об увольнении были долгими из-за приказа, который, несмотря на окончание войны, строго предписывал директорам заводов сохранять кадры специалистов. По техническому образованию и по стажу работы я подпадал под этот приказ. Наконец, уволившись, я оказался слишком свободным художником. Нужно было зарабатывать на хлеб не стихами — какое там! — а разной литературной работой. Мне предложили разгрузить огромный завал рукописей, скопившихся в издательстве. Среди них были романы, пьесы, поэмы, стихи. За каждое письмо, что по стихам, что по роману, мне решили платить по пятерке (старыми). Как голодный волк, я набросился на творения неведомых мне творцов. За месяц написал около двухсот писем, что дало мне значительно меньше моего заводского оклада. Уже тогда я понял, как трудно дается литературный хлеб. Мало того, двести писем, отосланных по разным адресам, как бумеранги, стали возвращаться новыми рукописями, ехидными письмами, — дескать, интересно, что вы сами пишете. Некоторые же вообразили, что я человек с достатком и могу денежно поддержать будущего гения, пока тот не напишет свою поэму.

Несмотря на этот смешной и печальный урок, я и в Москве, будучи уже студентом Литературного института, не гнушался такой работы. В одно время мне довелось написать много писем по журналу «Крестьянка» и «Литературной газете». От таких писем для меня была, ко-

печно, польза в смысле практики, но радости было мало. Меня утешал только один исторический пример. В письмах Чернышевского к сыну я как-то прочитал интересное признание. Сын, видимо, пожаловался, что не может найти по себе дорогу. На это Чернышевский ответил, что ему приходилось писать рецензии на журналы дамских мод, хотя в дамских модах он ничего не понимал и при этом считал, что честно зарабатывал свой хлеб.

Свои сочинения — стихи и очерки — я начал печатать еще в Новосибирске, в журнале «Сибирские огни». Для нас, тогда молодых, большое значение имел сборничек «Родина», изданный в 1944 году. В нем мы были представлены небольшими циклами стихов. А в 1947 году вышла моя первая книжица «Лирическая трилогия», состоявшая из трех небольших поэм. Вторая же книга стихов появилась только через восемь лет. На это были свои грустные причины. На Первом совещании молодых писателей я был хорошо принят семинаром Николая Асеева. Тогда же познакомился с Александром Твардовским, который, прочитав «Марьевскую летопись», сказал: «Отрадно». Но все же, когда вещь была напечатана в «Сибирских огнях», в областной газете появилась большая статья, в которой ставился риторический вопрос: «Куда нас ведет поэт Василий Федоров?» Критик находил, что мое представление о послевоенной деревне не очень-то передовое. Хоть я и понимал, что критика моей вещи была дежурной, но вопрос, куда я веду, был задан, и на него нужно было отвечать, а на это потребовалось время. Да и «Лирическая трилогия» вызвала не очень лестные суждения критики. Меня обвиняли в эстетстве, несвойственном-де заводскому человеку, в гипертрофическом чувстве любви и прочем. В этих условиях мне и самому не очень-то хотелось выступать с новой книгой. От «Лирической трилогии» я отошел, а в новом материале еще не укрепился.

Должен сказать, что критические замечания в мой

адрес не очень отразились на моем самочувствии. В это время меня охотно перевели с заочного на очное отделение Литературного института. Мое имя начали упоминать в столичных газетах. А вот по окончании института при оценке моего творчества мне отказали в дипломе. Правда, вскоре без моей просьбы поставили мне тройку за творчество и диплом выдали, не столь торжественно, как другим, но выдали.

Поздней, оглядываясь на то время, увидел несколько причин для объяснения истории с дипломом. Одной из причин было мое неумение распорядиться стихами при составлении диплома. Многое из того, что в моем двухтомном издании составило три первых раздела, тогда не было напечатано, а потому и не было включено в диплом. Журналы, мягко говоря, не очень охотно печатали мои стихи и, возвращая, создавали вокруг них атмосферу сомнительности, которая сбивала с толку и меня, и моих оценщиков. Кроме того, среди последних были и такие, которые не принимали мои стихи из-за нетерпимости к другой поэтической вере, то есть соображений чисто групповых. Не буду называть имена принявших участие в этом недобром для меня деле из давнего презрения к литературной сутолоке, в которую, к сожалению, часто втягиваются люди с видимостью культуры и дарования, а иногда и люди с талантом. Меня всегда поражала близорукость таких людей, пытающихся обмануть общественное мнение, но в конечном счете обманывающих самих себя. У них в таких случаях неизбежна душевная коррозия — опаснейшая из болезней писателя.

Было о чем поразмыслить. На это ушло несколько лет. Стихи я по-прежнему писал, но в редакции не показывал. Потом эти стихи, как и те, что лежали в бочке, печатались в разных книгах, таких, как «Лесные родники» (1955), «Марьевские звезды» (1955), «Дикий мед» (1958). Это вносит некоторую путаницу в хронологический строй моих произведений. Например, стихотворение «Другу»

было написано в 1948 году, а напечатано через двенадцать лет в книге «Не левее сердца» (1960). То же самое произошло и со многими другими вещами.

Молодые поэты бывают нетерпеливыми: написал — и скорей в редакцию. Зрелые сознательно сдерживают себя: написал — пусть полежит... Почему я не сразу напечатал то, что можно было напечатать, то есть когда уже предоставилась возможность? Если стихи лежат долго, их должна призвать жизнь. Они печатались по времени призыва: десять лет назад — одни, пять лет назад — другие. «Притча», прождав четверть века, напечатана совсем недавно. Мертвых жизнь не призывает.

В отличие от стихов мои прозаические опыты почти все газеты и журналы, с которыми я имел дело, печатали охотно. Это были очерки. Они появлялись в «Сибирских огнях» и «Новом мире». Долгое время я сотрудничал в «Крестьянке», «Смене», «Огоньке». Особенно памятна работа в последнем журнале. Здесь из нас, выпускников Литературного института, сколотилась крепкая группа очеркистов, состоящая из В. Солоухина, В. Тендрякова, И. Кобзева и меня, которую в редакции шутливо называли «автобусом гениев». Все мы тяготели к очерку художественному, а в редакции с нас требовали тогда точной информации. Помню, из-за этого у меня возник конфликт с директором Ковровского экскаваторного завода. Обидевшись на то, что в своем очерке я кого-то переоценил, кому-то чего-то недодал, он прислал в редакцию письмо, в котором уличал меня в неточном отображении расхода цветных металлов. Речь шла о двухстах-трехстах граммах на машину. Чтобы оправдаться перед редактором, мне пришлось прибегнуть к спасительной фразе Пушкина: «Над вымыслом слезами обольюсь».

Кроме журнальных очерков, несколько документальных вещей у меня вышло отдельными книжками в Новосибирске и Москве. В 1955 году в издательстве «Молодая гвардия» появилась моя повесть «Добровольцы», уже не

связанная строгой документальностью. Для поэта работа очеркиста очень полезна. Мне она дала материал для многих стихов и поэм. Поэту не следует гнушаться и критических статей, ибо и проза, и поэзия, и критика — лишь ветви единого древа, называемого литературой.

Несколько слов о поэмах. Начиная с «Лирической трилогии», в них, на мой взгляд, есть своя логика развития, видимые и невидимые связи между собой, как в едином организме. Несмотря на то, что поздняя манера письма заметно отличается от той, в которой написана «Лирическая трилогия», в ней были заложены многие темы последующих произведений: «Марьевская летопись», «Далекая», «Проданная Венера», даже «Бетховен», не говоря уже о «Седьмом небе», где читатель обнаружит прямую связь с «Трилогией».

Писать поэмы я начал так же рано, как и стихи. Прежде чем напечататься, мне пришлось испытать несколько поучительных неудач. В нашей деревне по курным баням жила пришлая чувашка Кирсаниха с сыном Яшкой, моим ровесником. У него была шапка огненно-рыжих кудрей. По бедности он стал мелким деревенским воришкой: воровал молоко и хлеб. Из дружбы к нему я написал дидактическую поэму, в которой призывал Яшку к добродетельной жизни. Выслушав мою поэму, Яшка почесался и сказал: «Пойдем играть в бабки». Воровать он не перестал. Даже больше, с возрастом перешел на более крупные кражи, за что его где-то убили. Памятуя о судьбе Яшки Кирсана, я навсегда отказался от дидактических поэм.

Поздней мной была написана романтическая поэма «Владимир и Людмила». Он — поэт, она — цыганка, отбившаяся от табора.

Из этой поэмы до сих пор вспоминаются многие стихи, например:

Цыганка, пой,
Цыганка, пой,

Меня волнует голос твой,
Юная цыганка.
Но ты стонешь,
Плачешь ты.
Слезы льются на цветы
У тебя, цыганка.

В то время в деревне работали два молодых учителя: Сергей Якубович и Павел Крапива. Пришел к ним, прочитал поэму. Она им понравилась, но оба нашли ее незаконченной. Сергей Якубович посоветовал, чтобы я свою дикоштую цыганку «привел» к ним в школу. Так я и поступил, но поэма развалилась. У поэмы, как, впрочем, и у лирического стихотворения, должны быть внутренние законы развития. У поэмы они непреложней. Всякие привнесения разрушают ее. В этом мне приходилось убеждаться не раз. Материал должен обладать поэтической совместимостью.

Между прочим, вспоминая теперь ранние стихи, даже детские, с удивлением замечаю, что в них почти нет ритмических сбивов. И поздняя моя работа над стихом, видимо, шла не по линии овладения формой, а скорее по линии содержания, достижения свободы выражения мыслей и чувств, естественности интонации, которую я ценю в стихе более всего. Пока что из критиков никто не заметил, что в «Седьмом небе» есть места, где вписаны стихи юных лет, хотя мог бы, конечно, сочинить новые. Поскольку поэма написана о том времени, то вписанные стихи тех лет стали для меня критерием подлинности настроения, иногда мрачного.

Кто страхи превратил в закон?
Кто мою веру вынул вон?
Кто зло внушил:
Казнись, Василий!
Не знаешь?
Горю не помочь?
Так для чего ж
Мне эта ночь,

Перед которой
Я бессилен?!

Захватил себя на мысли: не слишком ли акцентировал на трудностях своего пути в поэзию, не слишком ли подробно описывал неудачи? В этом есть смысл. Во-первых, неудачи всегда поучительны, а трудности в поэтическом деле закономерны. Как сказано в том же «Седьмом небе»: «У счастья не бывает опыта, лишь у несчастья опыт есть». Мне приходилось часто получать письма начинающих с таким наивным содержанием: «Пишу уже целый год, а меня все еще не печатают». Во-вторых, писание стихов для поэта является фактом биографии, а всякий биографический опыт помогает лучше понять поэта. В своем автобиографическом очерке я касался в основном лишь тех моментов, которые менее всего известны читателю. Что же касается самих произведений и обстоятельств их написания, то хочу коротко остановиться лишь на книге стихов «Третьи петухи» и поэме «Седьмое небо».

Книга «Третьи петухи» была написана быстро, менее чем за полгода, что для меня случай редкий. Обычно мои прежние книги складывались в более продолжительный срок. Просто к тому времени накопилось слишком много материала, который вдруг настоятельно потребовал художественного оформления. Как и прежде, я не писал книгу, а работал только над стихами в отдельности. Книга получилась сама собой и, на мой взгляд, наиболее цельной. В ней заметно звучат тревожные ноты за нынешнее состояние природы и человека в ней, находящихся, по-моему, в опасной дисгармонии.

Природа и сама
Стремится
К совершенству,
Не мучайте ее,
А помогайте ей!

«Седьмое небо», наоборот, писалось около девяти лет. Обдумывая общую архитектуру вещи, я использовал преж-

ний, не очень удачный опыт работы над большой поэмой. Крупные произведения с одним общим сюжетом, как правило, бывают плохо организованы, их сюжетные линии, если они есть, чаще всего затухают и теряются уже где-то в середине. Такие поэмы похожи на длинную кишку, нашпигованную строчками, между которыми часто нет внутренней связи. Поэтому я писал каждую главу по законам своих небольших поэм, связанных между собой не только судьбой главного ее героя Василия Горина, но и логикой развития самого материала, его временны́ми особенностями. Начатая в романтическом духе, что соответствовало состоянию героя — студента, учлета аэроклуба, влюбленного в Марьяну, в новых, заводских, условиях поэма должна была все больше вбирать в себя реалистические черты. Новым романтическим взлетом в главе «Земля и Вега», где герой со своими неудачами попадает на звезду, мне хотелось ярче осветить и прошлые и будущие испытания Василия Горина. Для понимания нравственного состояния героя, несмотря на фантастичность обстановки, эта глава поэмы, можно сказать, коренная и главная.

Характерная деталь. Когда «Земля и Вега» была уже набрана в «Огоньке», произошло событие не менее фантастическое, чем в этой главе: совершил космический полет Юрий Гагарин. Взяв из редакции на день главу, я дописал в ней новый конец, который стал естественным продолжением сюжета. Так жизнь толкала и корректировала мою работу. Она была в самом разгаре, и теперь я уже был уверен, что закончу ее. Вот почему в обращении к Гагарину я вопреки привычке молчать о планах не постеснялся пообещать:

Я расскажу иными днями
В словах по сердцу и уму,
Какими трудными путями
Мы шли к полету твоему.

Да, мне хотелось, чтобы поэма «Седьмое небо» стала поэмой о наших трудных путях. Насколько мне это удалось, судить не мне. Помню, когда еще в рукописи я прочел «Землю и Вегу» в Ленинграде, любимый мной поэт Александр Прокофьев даже забеспокоился: не хочу ли я в своей поэзии отойти от земных дел? Потом, когда я «вернулся» на землю и написал новые главы, старик успокоился. Но вот прошло еще несколько лет, и все мы видим, что штурм космоса становится все решительней и, видимо, для счастья земли необходимым. При этом становится виднее, «что платим мы земною платой за тяготенье к высоте». Цена платы все увеличивается, тем не менее хочется закончить свой автобиографический очерк самыми последними строчками из поэмы «Седьмое небо»:

Читатель!
Все-таки вокруг
Людей крылатых
Стало больше!

СТИХИ РАННИХ ЛЕТ
(1936—1945)

*

Имел бы я
Всевещий ум пророка,
Я б заглянул
В грядущие года:
Куда меня,
Взметенная высоко,
Пригонит жизни
Быстрая волна?

Имел бы я
Магические призмы,

Я подсмотрел бы
Вопреки годам,
Что даст мне мир,
В который был я призван,
И что я сам
За это миру дам.

Хотя б на миг
Из тех далеких далей
Единый миг
Приблизился ко мне,
Чтобы понять,
Зачем меня призвали,
Что должен я
Исполнить на земле.

*

Как случилось,
Не заметил,
Что в тебя я так влюбился,
Как случилось,
Что, целуя,
Оторваться не могу!..

Как случилось, дорогая,
Что ты стала всех дороже,
Как случилось, что другая
Потеряла красоту!..

Если сердце ошибется,
Пусть его любовь накажет,
Но не верю я, чтоб сердце
Ошибалось хоть на миг...

Если разум ошибется,
Пусть его затмит измена,
Но не верю я, чтоб разум
Был плохим поводырем.

Почему, как Прометея,
И меня ты приковала,
Неужели я похитил
Пламень сердца твоего?!

*

Радость,
Нежность
И тоска,
Чувств нахлынувших
Сумятица.
Ты — как солнце
Между скал:
Не пройти
И не попятиться.

На тебе
Такой наряд:
Сердце вон
За погляденье.
Ты светла,
Как водопад,
С дрожью,
С ужасом паденья.

Ты извечная,
Как Русь,
Ты и боль
И врачеванье.
Я нескоро
Разберусь,
В чем твое
Очарованье.

*

Если б
Богом я был,
То и знал бы,
Что творил
Женщину!

Если б
Скульптором стал,
Высек бы
Из белых скал
Женщину!

Если б
Краски мне дались,
Рисовала б
Моя кисть
Женщину!

Но
Не бывшую со мной
И не ставшую женой
Женщину!

*

Милая моя, милая, —
Милому вымолить мало.
Какой неземною силою
Ты меня приковала?

Милая моя, скрытная,
Кто тебе дал, по грешности,
Эти глаза магнитные
И руки нежнее нежности?

Если из них, любимая,
Будет петля устроена,
Сделай, чтоб жизнь моя
Была ее удостоена.

Шею мою
Не спеша
Сдави
Так, чтоб, слабея силою,
Видел я долго глаза твои,
Губы твои, любимая.

Глядя в очи остылые,
Смейся, смейся...
Не бойся!..
Пусть подумают, милая,
Что мы оба смеемся.

*

Мы с тобой
Не много пробежали.
В быстром беге
Мог ли думать я,
Что меня
Украдкою ужалит
Злая
Подколодная змея!

Под какой
Колодиной лежала?
Сколько лет
Таилась, стерегла?
Нет,
Ты только выщерила жало,
А ужалить в сердце
Не смогла.

*

Где плыву?
Куда причалю?
Ты не гнись,
Мое весло.
Не заметил,
Как печалью
Лодку в горе
Унесло.

А у горя,
Как у моря,
Волны черные дики.
И любовь,
Со мною в споре,
Погасила маяки.

Ты плыви,
Плыви далеко,
Спорь с туманом
Над волною.
И красива
И жестока,
Но жестока
Лишь со мною.

*

Кто б жизнь мою
Окинул оком
И кто бы догадался сам,
Что я стою живым упреком
Несправедливым небесам.

И кто бы проявил участье,
Постигнув главное одно:
За что рожденному для счастья
Любви и счастья не дано?..

*

Когда влюбляются титаны,
То начинаются раздоры, —
Они волнуют океаны
И рушат каменные горы.

Они, глашатаи эпохи,
Дерзнувшие попрать законы, —
Вздохнут, и пагубные вздохи
Опасны людям, как циклоны.

Бывает,
Падают титаны,
Но долго не смолкает слава:
Их раны — дымные вулканы,
А кровь их — огненная лава.

*

И мороз,
И снег бескрайний.
На стекле, прикрыв закат,
Зарождается из тайны
Белый,
Белый,
Белый сад.

Все бело,
Как в дни цветенья:
Ветви, листья и трава.
Нежные до изумленья
Зачинаются слова.

Слышу
Птичье щебетанье,
Вижу белых гроздьев дрожь.
Только знаю,
На свиданье
В этот сад
Ты не придешь.

*

Мне рваные брюки
Сегодня приснились,
Взгрустнул я: заплата нужна.
Но Муза тогда надо мной наклонилась,
И вот что сказала она:

«Ты молод,
И помощь мою не отбрасывай.
За всех вас болея душой,
Я брюки чинила поэту Некрасову
И опыт имею большой.

Не каждому
С песнями жить припеваючи,
Не каждому — море любви.
Некрасов был гений,
А ты начинающий...
Терпи, мой хороший, терпи!»

*

За дружбу,
За любовь,
За боль
Последней встречи,
За сладкий хмель
Испитого вина
К тебе одной
В прощальный этот вечер
Грудь
Благодарности полна.

Когда другие
Только боль
Дарили,
Притворствуя в любви,
Но не любя,
Твои глаза
С упреком говорили:
«С другими ты,
А я люблю тебя».

Твое прощенье
И твое прощанье
Соединились,
Чувство не дробя,
В один порыв
Любви и обещанья:
«Я все равно
Буду любить тебя!»

*

Прощай, село!
Я сын твоих полей.
Мне мил простор твоих зеленых пашен.
В прощальный час торжественно налей
Свой дикий хмель в приподнятую чашу.

В твоих чертах
Суровый признак есть.
И пусть я рос, по-детски мало нежась, —
В моей груди все время будет цвесть
Твоих лесов невянущая свежесть.

Мою страну
Не обойти в года.
Есть много мест,
Прославленных другими,
Но никому я счастья не отдам
Нести твое немеркнущее имя.

Промчится время — много, много лет,
Посмотрят люди, спросят мимоходом:
— Откуда он? —
И скажут им в ответ:
— Он — марьевский
И поступью и родом.

*

Любви и ненависти в дар
Я нынче все отдать поклялся,
Чтоб каждый боевой удар
Ударом сердца отозвался.

Чтоб там,
Где русская верста
Под поги чуждые упала,
Над тенью черного креста
Звезда России засияла.

ПИСЬМО СОЛДАТА

Хочу в письме
Тебе о всем поведать.
Пока не слышно зова батарей,
Мечта спешит великий день победы
Предугадать за много, много дней.

И осмотреть
Влюбленными глазами
Тот светлый день,
И сердце отогреть.
О, как, омытый кровью и слезами,
Он будет ослепительно гореть!

И если нам
Его не видеть вместе,
И если...
О, как хочется прочесть
Мне лишь одно
Среди твоих известий —
Что будет сын,
Что у меня он есть!

И в ожиданье
Грозного рассвета
Воображать любимое лицо.
Что мне с того,
Что назовут поэтом,
Когда никто
Не назовет отцом!

Никто не скажет
Сверстникам-ребятам
Всей гордостью
Восьми каких-то лет:
«В те времена
Отец мой был солдатом,
Он, между прочим,
Был еще поэт».

ЗАВЕЩАНИЕ

Солдат,
Приподнимаясь над постелью,
В предсмертный час
Для сына диктовал:

«Передаю тебе родную землю,
Которую я вновь отвоевал.

Чтоб не посмел
Никто ее обидеть,
Ты, продолжая славный путь отца,
Расти большим,
Чтоб всю ее увидеть,
Понять ее душою до конца.

Пиши, сестра, пиши...
Наш край метельный,
Где ты родился, —
Так и напиши, —
Умей любить
Любовью беспредельной,
Умей любить
Всей нежностью души.

Смотри, мой сын,
По капле не разлейся,
Но, жизнь, и труд,
И славу полюбя,
Ты мужеству учись
И не надейся,
Что кто-то будет думать за тебя.

Настанет время,
И дорогой вешней
По волнованью луговой травы
Ты в жизнь пойдешь,
Не выходи без песни,
Не опускай веселой головы.

Она подарком не дается свыше,
Умея жить и все одолевать,
Я сделал все,
Чтоб ты ее услышал,
Узнал ее и смог завоевать.

Чтоб в трудный час
Любого испытанья
Ты верности в груди не погасил...

Писал в минуту ясного сознанья
И в полноте моих душевных сил».

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

В ярком свете
Седой запрокинулся тыл;
Вскинув
Тонкие длинные руки,
Дирижер надо мной
Черным лебедем взмыл
И застыл на волне
Раскаленного звука.

Люди в зное сидели,
Немея и тая,
Скрипка соседку
Куда-то бежать торопила.
А волна закачалась,
Барьер сметая,
И темные грядки
Голов затопила.

Хлюпала флейта:
«Омой, омой его!..»
Свирельный фонтанчик
Морозил до дрожи...
А над потопом
Ковчегом Ноевым
Сдвинулись плотно
Пузатые ложи.

Спас барабан,
Как всегда,
Когда нежненьким туго,

Цыцкнул на скрипку:
«Сегодня стонать бы не ей!
Настежь двери!
За мной, хоралы и фуги!
Сегодня я
Верхохорю симфонией!»

*

Учитель
Через много лет
Прочтет вопрос
На детских лицах:
«Как обновлялся старый свет
В своих изломанных границах?

Чем наша Родина жила?
Кому судьбу свою вверяла?
А где тогда Сибирь была —
Все там же,
За хребтом Урала?»

И, давней битвы
Рваный след
Спокойно обведя рукою,
Он скажет:
«В дни народных бед
Сибирь стояла под Москвою».

ВОЙНА И МУЗЫКА

Не лечу —
Пару ног волочу
От земной перегрузки,
От бессонниц,
От звуков,
Что сдавили виски.
Вдруг запела
Веселая музыка...
Музыка!..
Разве время для музыки?!

Разве ей
Наше горе понять
И поправить?
Ну, с чего ей поется?
Ну, кто ее просит
Размораживать душу
До слякоти?
Я ведь
Заморозил ее
На сибирском морозе.

Пусть поймет,
Что у ночи
Я все еще пленный,
Что мне легче
Седеть и стареть
Несогретым.
Если юность
Нельзя сохранить неизменной,

Мы охотно с нее
Сохраняем портреты.

И когда-нибудь,
Зная, что жил я недаром,
Прошепчу, собирая
Минувшего клочья:
Вот под музыку эту
Бродил я бульваром,
А под эту
Я плакал
Той памятной ночью.

ПРИТЧА

— Там, на горе,
Построен будет храм, —
Сказал Строитель,
Показал на камень. —
Возьмешь его обеими руками
И понесешь,
И к сроку будешь там.

Счастливый тем,
Что я,
А не другой
Был в ранний час
Строителем замечен,
Я камень приподнял над головой
И, пригибаясь,
Опустил на плечи.

Понес его на горние места,
Сбивая с трав предутренние росы,
И не заметил сам,
Когда устал
И как решил,
Решил я камень сбросить.

И бросил бы,
И сел на камень тот.
Но, трудный путь усталостью итожа,
Спросил себя:
«А кто же понесет
Его наверх?
Когда не я,
То кто же?!»

НА БЕРЕГУ

Бегут круги,
Кружки,
Кружинки...
Мальчонки взмахами уды
Золотобокие кувшинки
Вытаскивают из воды.

Мне слышно,
Как они смеются,
И видно:
На волне крутой
Большая лилия, как блюдце,
Наполнилась живой водой.

Открылись розовые стоки.
Как будто,
Лилию клоня,
Пахучие земные соки
Переливаются в меня.

Все поражает новым смыслом.
Вон девушка,
Моей под стать,
Качается под коромыслом,
Чтобы воды не расплескать.

Все видится
В ином значенье.
Вон легкий ветерок повлек
По серебристому теченью
Кружащий селезнем валек.

А женщина,
Снимая с плахи,
Развешивает на кусты
Не очень новые рубахи
И очень свежие холсты...

И может быть,
Моих открытий
Глухому сердцу не понять.
Войной оборванные нити
Соединяются опять.

В душе
Ни боли,
Ни страданья,
В душе зажегся робкий свет.
Как долго шел я на свиданье,
Отложенное на пять лет.

Но сердце многого не знает,
Когда у тихих берегов,
Стуча,
Само напоминает
Забытый звук ее шагов.

Давно их нет.
За датой дата
Проходит в памяти...
Прогнать?!
Нет, все, что я любил когда-то,
Я не могу не вспоминать.

ПЕРЕПУТЬЯ
(1945—1950)

ДРУГУ

Не удивляйся,
Что умрешь.
Дивись тому,
Что ты живешь.

Дивись тому,
Что к сердцу близко
Однажды ночью голубой
Горячая упала искра
И стала на земле тобой.

Не скифом
И не печенегом,
Минуя сотни скорбных вех,
Ты сразу гордым человеком
Явился
В наш двадцатый век.

— Мы — люди.
Нас легко обидеть. —
Но ты подумал ли хоть раз,
Что я бы мог и не увидеть,
Мой друг,
Твоих печальных глаз?

Нас, гордых,
Жизнь не стала нежить,
Нам горький выдался посол.
Мы люди,
Нас легко утешить
Напоминаньем бо́льших зол.

В любви,
В крови,
В огне боренья,
Со славой тех, кто первым пал,
Сменялись,
Гибли поколенья
За это все, что ты застал.

Все чудо:
Солнце, весны, зимы,
И звезды, и трава, и лес.
Все чудо!
И глаза любимой —
Две тайны
Двух земных чудес.

Да будь я камнем от рожденья,
Я б в жажде все одолевать
Прошел все муки превращенья,
Чтоб только
Человеком стать.

Не удивляйся,
Что умрешь.
Дивись тому,
Что ты живешь.

*

На родине моей
Повыпали снега,
Бушует ветер в рощах голых.
На родине моей,
Должно, шумит пурга
И печи топятся в притихших селах.

Приветом детства
Встала предо мной
С годами позабытая картина:
Горит луна,
И смутно под луной
Поблескивает снежная равнина.

Отбушевав,
Снега притихли — спят.
Среди снегов, запорошивших вербу,
Полозья одинокие скрипят,
Как будто жалуются небу.

Сместилось все
В сознании моем:
Как будто брежу дальними огнями
И в полушубке стареньком своем
Шагаю за скрипучими санями.

Вновь мерзну,
А дорога далека,
Сугробам белым нет конца и краю.

На родине моей
Повыпали снега,
Я их люблю,
За что — и сам не знаю.

МОРЕ

Сестре Тоне

За речкой не открыть Америк,
Но ты вела меня на взгорье.
— Закрой ладонью дальний берег,
И ты под ней увидишь море.

Виднелись села за рекою.
Вдали брело за стадом стадо...
Я берег закрывал рукою,
И выходило все как надо.

Летели годы —
Речка уже,
А мир все шире...
Нам с тобою
В метельной и буранной стуже
Порой был слышен шум прибоя.

Нас жизнь
Носила и хлестала
Пять лет —
От горя и до горя,
Да так, как будто суша стала
Намного беспокойней моря.

И, наконец,
При тихом ветре,
Преодолев каменьев груды,
Глядели мы с высот Ай-Петри
На вечное земное чудо.

Ты привела меня, как прежде,
К живому шуму синей лавы...
На Черноморском побережье
Я вспомнил детские забавы.

Вот море —
Буйное такое,
Ладонью мысленно приглажу...
И, горизонт закрыв рукою,
Хочу увидеть речку нашу.

МАСТЕР

Три года живу я в столице,
Люблю я столицу...
И вот
Когда она вся озарится,
То чем-то напомнит завод.

Припомнится город сибирский,
И тут же привидится мне:
Летят автогенные брызги,
Скользя по кирпичной стене.

И вдруг ни с чего затоскую,
Да так, что сдержаться нет сил,
И вспомню тогда мастерскую
И цех, где я мастером был.

Представлю на миг лишь единый
Пролеты больших корпусов,
Бульдозеров гнутые спины
И вздохи чугунных прессов...

Рабочих
За именем имя
Проходит минутой такой...
И станет завидно, что с ними
Работает мастер другой.

И может быть, так,
Между прочим,
Хорошую память храня,

Какой-нибудь старый рабочий
Ему говорит про меня:

Москва, мол, кому не приснится!
И он-де, упрямый такой,
Уехал за песней в столицу,
А песня живет в мастерской.

И скажет еще,
Что теперь я
Решил подучиться и сам,
Охотно уйдя в подмастерье
К московским большим мастерам.

Тогда неуемным желаньем
И верой наполнится грудь,
Что я свое прежнее званье
Сумею обратно вернуть.

СЕСТРЕ

Опять, как перед зеркалом, стою.
За худенькие плечи обнимая,
В глазах сестры читаю жизнь свою,
Забытые черты припоминая.

Все круче лоб,
Все реже рыжий чуб,
Темней глаза, прямолинейней брови,
И линии когда-то добрых губ
Становятся точнее и суровей.

Мишенью
Для ходячих остряков
Не станет ли седое благородство?
Все чаще я гляжу на стариков,
Уже предвидя будущее сходство.

Но, изменяясь,
Сохранить бы рад
Изо всего, чем наделен в излишке,
Все тот же тихий,
Любопытный взгляд
Простого деревенского мальчишки.

РЫЖУХА

Очень часто,
Всем сердцем гордый
За места, где я жил и рос,
Вместо отдыха на курортах,
Взявши отпуск,
Я шел в колхоз.

Вот дорога слегка пылится.
По дороге навстречу мне
Мчится рыжая кобылица
С русым мальчиком на спине.

Он сидел,
Боевой, глазастый,
Стиснув тонкие повода.
Поравнялись.
— Рыжуха, здравствуй! —
Крикнул весело я тогда.

— Здравствуй, старая!.. —
Левым ухом,
Правым рыжая повела...
— Что вы, дяденька...
Та Рыжуха
Позапрошлый год умерла.

Это дочка,
«Весна» по кличке.
Трактор пашет вон там, где лес,

Ну, а мы с Весной рапортички
Возим в ближнюю МТС.

Мальчик долго не трогал с места,
Разговаривал все бойчей...
Узнавая в нем чье-то детство,
Я спросил его:
— Сам-то чей?

Пригляделся —
И вспомнил друга,
Что погиб на чужой земле...
— Ну, пошла! —
И малец упруго
Приподнялся вдруг на седле.

Как бы тело ни уставало,
Все бы шел я вперед и шел,
Потому что на сердце стало
И печально и хорошо...

СЛЕДЫ

Вспоминается:
В книге я встретил
Очень горькие строки о том,
Будто в семьях лишь первые дети
Обладают богатым умом.

Говорил я с обидой ребятам:
— Вот настанут большие дела,
Разве я виноват, что девятым
Мать на поле меня родила.

Не скажите,
Что был я нескромен
Тем, что грань разнолетья стирал, —
Братья были
Строители домен,
Удивительных дел мастера.

Для обиды
Есть разные поводы:
Я догнал бы, но, как на беду,
Начались торопливые проводы...
В сорок первом году.

Никогда,
Никогда не забуду:
Мать глядела и мяла платок...
Разорвать наши взгляды с минуту
Даже поезд, казалось, не мог...

Никакие меня неудачи
Не сумели пригнуть и сломать.
Стал я первым в семье,
Но иначе...
Вспоминая потерянных, плачет,
Моя старая тихая мать.

Даже если и слезы бывают,
Их не видит никто.
Поутру
Слишком быстро они высыхают
На холодном сибирском ветру.

Даже больше —
Весенними днями,
Когда жизнь проступает во всем,
Их смывает косыми дождями
На горячий крутой чернозем.

Помню путь
К материнскому дому:
Проходя за пределом предел,
По-иному, совсем по-иному,
Не по-детски на мир я глядел.

Отдохнув на траве придорожной,
После стольких
Стремительных лет
Я шагал по земле осторожно,
Сапогами печатая след.

Было грустно.
Скажу откровенней:
Наклоняясь над теплой пыльцой,
Я как будто ослаб на мгновенье
И присел на родное крыльцо.

Вечерами
Здесь братья сидели
И делились заботами дня...
Все, что сделать они не успели
В этой жизни,
Легло на меня.

Чтоб сказать
О потерях негрубо,
Вспоминая братанов своих,
Целовал материнские губы
Много раз —
За себя и за них.

*

Любовью,
Гневом
Сердце мая,
Людей привык я разделять
На тех, которых я не знаю,
И тех, которых смог узнать.

И этих,
Что узнал поближе,
Я, приглядевшись,
Так делю:
Одних до радости люблю,
Других до боли ненавижу.

СКУЛЬПТОР

Он так говорил:
— Что хочу — облюбую,
А что не хочу — недостойно погони. —
Казалось, не глину оп мнет голубую,
А душу живую берет он в ладони.

Ваятель,
Влюбленный в свой труд до предела,
Подобен слепому:
Он пальцами ищет
Для светлой души совершенное тело,
Чтоб дать ей навеки живое жилище.

Не сразу,
Не сразу почувствовать смог он,
Не сразу увидеть пришедшие властно:
И девичий профиль,
И девичий локон,
Капризную грудь,
Задышавшую часто...

Но тщетно!
И, верен привычке старинной,
Он поднял над нею дробительный молот
За то, что в душе ее — глина и глина...
За то, что в лице ее — холод и холод...

Нам жизнь благодарна
Не славой охранной,
А мукой исканий, открытьем секрета...

Однажды,
На мрамор взглянув многогранный,
Ваятель увидел в нем девушку эту.

Невольно тиха
И невольно послушна,
Она, полоненная, крикнуть хотела:
«Скорее, скорее!
Мне больно, мне душно,
Мне страшно!
И мрамор сковал мое тело».

— Не будешь,
Не будешь,
Не будешь томиться,
Ты видишь, как рад твоему я приходу! —
Схватил он резец,
Словно ключ от темницы,
И к ней поспешил,
Чтобы дать ей свободу.

Заспорил он с камнем,
Как с недругом ярым...
И, споря с тем камнем,
Боялся невольно,
Чтоб пряди не спутать,
Чтоб резким ударом
Лицо не задеть
И не сделать ей больно.

Из белого камня она вырывалась,
Уже ободренная первым успехом,
С таким нетерпеньем,
Что мрамор, казалось,
Спадал с ее плеч горностаевым мехом...

С тех пор,
Равнодушная к пестрым нарядам,
Легко отряхнувшись
От мраморных стружек,
Глядит она тихим,
Задумчивым взглядом
На мимо идущих веселых подружек.

На жизнь трудовую,
Чтоб здесь не стоять ей,
Она променяла бы долю такую.
Стоит и не знает она, что ваятель,
Блуждая по городу,
Ищет другую.

МАТЕРИ

Есть такой порыв неодолимый,
Когда все высокой страстью дышит.
Пишет сын стихи своей любимой,
Только писем
Он тебе не пишет.

Не писать же в них,
Что не на шутку,
Как отец кулачный бой и пьянку,
Полюбил он вопреки рассудку
Легкую, как ветер,
Москвитянку.

Вся она
Сплошное заблужденье.
Нужно — до чего невероятно! —
Возвратиться с ней
К ее рожденью,
А потом
Вести ее обратно.

Верю я,
Что люди очень скоро
Подобреют в мудрости глубокой,
Но любовь, как яблоко раздора,
Навсегда останется
Жестокой.

Ты прости,
Совсем небоязливым

Прикоснулся я
К такому стану
И такому сердцу,
Что счастливым
Никогда, наверно,
Я не стану.

*

Когда в печи
Большого дома
В рождественские холода
Горит ячменная солома,
А не дрова горят,
Тогда
Истопникам
Не счесть терзаний.
Чтоб стало в доме том теплей,
Вгоняют в мыло лошадей,
Рвут хомуты,
Ломают сани.

Все чаще, милая,
Все чаще
Прошу тепла,
Прошу огня...
Так, может быть,
Не настоящей
Любовью греешь ты меня?

*

Лучше сразу бы сказала злое,
Чем расстраивать обиняком.
Я тебя ловлю на каждом слове
И па каждом вздохе о другом.

Глупые,
Смешные подозрепья!
Но когда сомнение не спит,
Каждое твое разуверенье
Только лишний повод для обид.

И когда
Всем сердцем негодую
И от боли чуть ли не кричу,
Все же ты не думай,
Что ревную...

Просто я тебя, мою родную,
В жалком свете
Видеть не хочу.

*

Немало я видел
Красавиц бедовых.
Что ж гонит меня
В переулки Садовых
По свежему снегу,
По белому насту?..
Такое со мною
Бывает нечасто.

Не поздно ли?
Поздно.
В любовные сети
Не надо запутывать
Добрых соседей.
Не лучше ли тихо,
Сторожко-сторожко,
Условною дробью
Пройтись по окошку.

Крадусь пустырями,
А сердце все ноет:
Откроет ли поздно?
Откроет!
Откроет!

Когда бы спешил,
Не увидел бы мету,
Что шел я к окну
По готовому следу.

Тогда б не услышал,
Сойдясь со стеною,
Что весело милой
С другим,
Как со мною.

Не надо стучаться.
Не надо стучаться.
Не надо встречаться.
Не надо встречаться.

С любовью такою
Теперь не ужиться.
Пойду за метелью
Свистеть и кружиться.

Насмешкой
Над нежностью
Чувств непочатых
Пятнает мпе сердце
Следов отпечаток,
Пылает обида
Ночного размена.
Кричу всему свету:
Измена!
Измена!

Сегодня метель
Для неверной подмога,
Она заметает
Следы до порога,
А снег,
Что в открытую душу
Влетает,
Все тает,
Все тает,
Коснется — и тает...

*

Я видел:
Еще до рассвета
Он шел от тебя, точно вор...
Как только увидел я это,
Тебя ненавижу с тех пор.
О, как ненавижу!
Ну, кто ты?!
И так, ненавидя, люблю,
Что вымажу дегтем ворота
И окна тебе разобью.
В подъезде забесятся львицы,
Твою сторожившие честь.
Плевать мне на то,
Что в столице
Смешна деревенская месть.

*

Все равно
Нам с тобою не слиться,
Как сливаются вольные реки.
Ревновать буду часто и злиться,
Как ревнуют и злятся
Калеки.

Дорогая,
Волной серебристой
Мы, сойдясь, не покатимся оба.
Даже в речке, большой,
Но не быстрой,
Ты осталась бы речкой особой,
Беспокойной,
Всегда серебристой.

Но и тихие реки весною,
До краев наполняя излуки,
По долинам,
Дразня белизною,
Тянут к милым
Разливные руки...

Без тебя мне
И больно и грустно.
Навсегда расставаясь с тобою,
Я свое помелевшее русло
Берегами крутыми прикрою.

*

В своей
Скитальческой судьбе
Я много думал о тебе.

Словами строгими,
Как в гимне,
Не помышляя о тепле,
Я думал:
Все пути легки мне,
Пока ты ходишь по земле.

Я думал,
Думаю и ныне,
Что справлюсь
С трудностью любой,
Пока мой разум пе покинет
Надежда встретиться с тобой.

Я думаю:
Ничтожны муки,
И сколько ни пришло бы их, —
Пока приветливые руки
Касаться будут рук моих.

Но в эту ночь по Барабе
Такие ветры завывали,
Что даже мысли о тебе
Меня уже не согревали.

Застыли ивы в декабре...
И я под вой пурги истошный

Припал лицом
К рябой коре
Холодной ивы придорожной.

О, если бы она дала
В тот час утратившему силы
Хоть толику того тепла,
Которое в себе таила!..

В жестоком
Снежном мятеже,
Когда зарыться в снег охота,
Я замерзал — и глаз уже
Коснулась смертная дремота.

И ты пришла...
И в полусне
Ты все-таки пришла ко мне.

Сквозь непроглядную метель
Идти меня поторопила,
Сказав, что постлала постель
И печку в доме затопила.

И голос твой
Меня увлек...
Разгоряченного от бега
Ты привела на огонек
И растворилась
В хлопьях снега.

Словами строгими,
Как в гимне,
Не помышляя о тепле,
Я говорю:
Пути легки мне,
Пока ты ходишь по земле.

*

Под крышей
Чужого закута,
Внося в мою жизнь разнобой,
Мне снилась такая минута,
Когда я был счастлив с тобой.

Приснился мне берег Катуни,
Бегущей в алтайских горах:
Мне снился тот берег в июне,
И был этот берег в цветах.

С тобой мы пошли за цветами,
И, словно в охотничий рог,
Шофер призывными гудками
Нас звал
И дозваться не мог...

Мой сон
Был на правду похожим,
И в нем,
Не могу передать,
Мечтал я о чем-то хорошем,
Но так и не смог домечтать.

ПОГОНЯ

Вперед!
Призывая
В долины и горы,
Мне жизнь обещала
Отраду земную.
Лети же, мой поезд,
Лети же, мой скорый,
Лети же вперед,
Полустанки минуя!

Пускай же в разбеге,
Пускай же в разгоне
Колесная тяжесть
Земли не коснется.
Пускай же в сердцах
О летучем драконе
Забытая всеми
Легенда проснется.

Как старцы
Красавицу
Долго скрывали,
Скрывая, сулили ей
Ласк неопасных.
Как вместо нее
Хитрецы выдавали
Влюбленному чуду
Старух безобразных.

Меня не обманут!
Увижу ль воочью,
Как в синем тумане
Следы твои канут,
Развею туманы...
Но даже и ночью
Тебя не подменят,
Меня не обманут!

Сорву с великанов
Таежные скальпы
И, если они
Не засветят при этом,
Вершину Белухи
И Чуйские альпы
Заставлю гореть
Фосфорическим светом.

Куда б ни ушла ты,
Моя молодая,
Везде я сумею
Пройти и прорыться.
Тебе и в горах
Голубого Алтая
Нигде
Никогда
От меня
Не укрыться!

*

Я тебя представляю
Поспешно шагающей к дому и
На поклоны отзывчивой.
Голову часто клоня,
Ты кому-то киваешь.
Я знаю, твои все знакомые
Посмелели с тех пор,
Как в столице
Не стало меня.

Я тебя представляю
И дома,
Неслышно ступающей,
Представляю за книгой,
Под лампою — в светлом кругу.
Я тебя представляю
Немножко-немножко скучающей,
Но влюбленной в меня
Я представить тебя
Не могу.

*

Я целовал твое письмо,
Не унимая нервной дрожи.
В нем наказание само,
В нем отречение — и все же
Я целовал твое письмо.

Могло бы быть совсем иначе.
Не плачу я и не корю.
Но, и не плача, говорю:
Могло бы быть совсем иначе.

Мне говорят мои года,
Что бесполезен поздний опыт,
Что я нигде и никогда
Не повторю любовный ропот...
Так говорят мои года.

Я не тебя,
Я мир теряю.
Не жалуясь и не сердясь,
Тебе я горе поверяю:
Поэзии живая связь
Оборвана...
Я мир теряю!

*

Я жил — не заметил
Ни дня,
Ни причину,
Что первую мне
Прописала морщину.

Я жил — не заметил,
Пора спохватиться,
Что было мне двадцать,
Что стало мне тридцать.

Я жил — не заметил;
Заметив, не плачу,
Что много утратил,
Что больше утрачу.

Желанному счастью
Шагая навстречу,
Я, может быть,
Встретив его,
Не замечу.

МАРЬЕВСКИЕ ЗВЕЗДЫ
(1950—1955)

КОРНИ

Сибиряк,
Я рос в лесном краю,
Где текут Иртыш, и Обь, и Лена...
Знаю ро̄дословную свою
Только до четвертого колена.

Что за ним —
Не слышал ничего я.
Прадед был,
И — помню из преданий —
Он ходил по Волге с бечевою

От верховья
К Астрахани дальней.

В некий час
Не Волга ли внушила
Прадедовой силе богатырской,
Чтоб она не мешкая спешила
К вольным рекам
Стороны сибирской.

Он простился с лямкою тугою
И проехал пол земного шара...
По утрам над мрачною тайгою
Полыхали зори, как пожары.

Говорят,
В дороге лошадь пала.
И тогда, в тоске о горизонте,
По-бурлацки сорок верст без мала
Вез телегу
Прадед мой Левонтий.

А потом,
Суровый и могучий,
Горький пот смахнув с лица устало,
Он взошел на марьевские кручи
И сказал: «Судьба!»
Да так и стало.

Род суровый!
Люди-непоседы,
По тайге любившие скитаться,
О, мои решительные деды —
Знатоки земли и рудознатцы!

Их нога ступала,
Где от века
Не вила гнезда себе орлица.
Говорят, во всех сибирских реках
Отражались их степные лица.

Жены-горевухи голосили,
А они, прощаясь в поле с рожью,
Что-то про судьбу свою басили
И опять пускались в бездорожье.

Соки от корней
Идут к отросткам:
Выступая старшим на подмогу,
Мой отец совсем еще подростком
Строить стал сибирскую дорогу.

Говорят,
Что строил образцово,
Строил так, что на дороге сына
До сих пор стоят мосты отцовы,
Презирая водные быстрины.

Сибиряк,
Я тоже с малолетства
Закалял себя в пути суровом,
Потому что получил в наследство
Страсть к труду
И страсть к дорогам новым.

И видел я
Незримое доселе:
Над головой моей издалека,
Похожие на древних птиц,
Летели
Напуганные чем-то облака.

Да, да, они летели,
А не плыли,
Они спешили,
Изнизу горя,
Как будто серо-пепельные крылья
Им обожгла высокая заря!

А по земле,
Неся с собой прохладу,
Хлеба и травы делая темней,
Еще тревожней пробегало стадо,
Причудливое стадо
Их теней.

Казалось,
Не был мир еще распознан
И, смутный,
Ждал рожденья моего,
Казалось,
Был он только-только создан
И я свидетель
Первых дней его.

Казалось,
Все, что есть под небесами,
Я должен был
Обжить и обогреть...

Как хорошо
Однажды посмотреть
На старый мир
Такими вот глазами!

В ЛЕНИНГРАДЕ

Этот город
Слишком красив,
Слишком красив.

В этом городе
Я сиротлив.

В этом городе
Стал я несчастней.
Без тебя,
Молодой,
Золотой.
Одинокому сердцу опасней
Повстречаться
С такой красотой.

Этот город
Слишком красив,
Слишком красив.

В этом городе
Стал я наивней.
Безысходную страсть затаив,
Принимаю весенние ливни
За тяжелые косы твои.

Этот город
Слишком красив,
Слишком красив.

Ты отходишь,
Не видя,
Не глядя.
Вскинув руки,
К тебе я бегу.
Ты отходишь,
И кос твоих пряди
Я ловлю
И поймать не могу.

Этот город
Слишком красив,
Слишком красив.

И мечусь я,
Не видя укрытий,
Слыша цокот копыт за спиной...
Успокойся, заботливый критик:
Медный Всадник
Не скачет за мной.

ЗВЕЗДА

Л. Ф.

Неравнодушная к приметам,
Ты помнишь ли ту ночь,
Когда
Средь звезд,
Горевших ровным светом,
Явилась странная звезда?

Ты помнишь,
Как тебя пугало,
Что та звезда
Средь звезд других
То совершенно потухала,
То разгоралась ярче их?

Так и любовь.
То вспыхнет тоже,
То вдруг погаснет, на беду...
Она у нас с тобой похожа
На ту капризную звезду.

Мне долго было неизвестно,
Как жизнь планетная течет.
Однажды тайну тел небесных
Открыл мне старый звездочет.

На голубые глядя точки,
Сказал он мне тогда:
— Сравни
Все эти звезды-одиночки,
Без перемен горят они...

А ваша,
Что предстала взглядам
Печальным признаком беды,
Не одинока...
Это рядом
Бредут по небу
Две звезды.

*

Еще недавно нам вдво́ем
Так хорошо и складно пелось.
Но вот гляжу в лицо твое
И думаю:
Куда все делось?

Но память прошлое хранит,
Душа моя к тебе стремится...
Так, вздрогнув,
Все еще летит
Убитая в полете птица.

*

Их взяли,
Тронутыми гарью,
На поле, выжженном дотла:
Одна была немецкой сталью,
Другая русскою была.

Но сталевары
С равной честью,
Свою лишь взглядом отличив,
Две стали положили вместе
В огонь мартеновской печи.

Война!
Она и сталь калечит.
Мартен как госпиталь, и в нем
Ее, изломанную, лечат,
Ей возвращают жизнь огнем.

Чужая сталь —
С ее виною,
С позорной метою креста, —
Омытая целебным зноем,
Как наша,
Стала вдруг чиста.

Чиста,
Как в первое плавленье,
Когда она перед войной
Еще ждала предназначенья
Стать трактором и бороной.

И потому
Не странно даже,
Что, становясь все горячей,
Она, чужая, вместе с нашей
Сливается
В один ручей.

*

Пересохли жаркие ручьи,
Отпылали, отшумели страсти...
Возвратясь от доменной печи,
Охнул, слег и...
Умер старый мастер.

Не было techединки в бороде,
Даже грудь, по слухам, не болела,
Просто у него в большом труде
От железа кровь отяжелела.

И зимой
По стуже ледяной,
Знойным летом, в мареве белесом,
Взятое из недр земли родной,
Поездами шло к нему железо.

Дань земли,
Что брал он, велика:
Из ручьев горячих,
Бивших в створы,
Огненная вышла бы река,
А из руд
Могли б сложиться горы.

И теперь
За все, что в недрах брал,
Что в огне горячем переделал,
Он земле в уплату отдавал
Маленькое сухонькое тело.

Никому,
Кто знал его давно,
Не казалась малой эта плата.
Сухонькое, легкое, оно
Стоило того,
Что было взято.

ТРУДОВАЯ КНИЖКА

Одна страница перелистнута,
Шесть строк —
И книжка прочтена.
Но в эти строки мною втиснуто,
Полжизни, не считая сна.

Она скромна.
Сусальным золотом
Ее никто не покрывал.
Вот первая строка —
Под молотом
Два года я ее ковал.

Душа от гордости расправилась
У парня, росшего в селе.
И каждый видел,
Что прибавилось
Одним рабочим на земле.

Второй строкой
Три года отнято,
Она была в литейной отлита...

В те дни,
Не очень отдаленные,
Она казалась огневой.
Теперь остыла, закаленная,
И отливает синевой.

Шесть строк,
И кованых и плавленых,

Шесть строк,
Коротких и простых,
Шесть вех,
Негаданно поставленных
На поворотах
На крутых.

Шесть глав
Неповторимой повести
О судьбах на земле родной,
Шесть строк —
Как шесть упреков совести
За не написанное мной...

Припоминаю наставления
Литейщиков и кузнецов,
На что потратить вдохновение,
И красоту, и силу слов:

— Пиши, да так,
Чтоб сердце плавилось
В неубывающем тепле,
Чтоб каждый видел,
Что прибавилось
Одним поэтом на земле...

— Пиши, — сказали, —
Коли пишется,
Коль жизнь способности дала,
Но так, чтоб трудовая книжица
Всем книгам
Матерью была!

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО...

У домен
Есть свое отличие.
Здесь выход чугуна
Не зря
Торжественностью и величием
Подобен выходу царя.

Пред башнею,
Где руды плавятся,
Все,
Кто в заботах ночь не спал,
Стоят и ждут:
Сейчас появится
Его Величество Металл.

Он вышел...
Люди расступаются,
Растроганные красотой.
Идет —
И звезды осыпаются
С его короны золотой.

Не скрыть,
Не спрятать изумления
Ни горновым,
Ни мастерам...
Но,
Ожидавший поклонения,
Он поклонился людям сам.

ПОЛЫНЬ-ТРАВА

Витая в облачных туманах,
Последних ожидая виз,
Они сидят на чемоданах
И ждут отправки в Коммунизм.

Они душой и телом «новы».
— Скорей, скорей! — твердят всегда...
Хоть завтра, хоть сейчас готовы
Они отправиться туда.

Другие грязи не боялись,
А эти, презирая труд,
От пережитков очищались,
«Очистились» — сидят и ждут.

Таким легко:
Спиной к заботам,
Лицом в мечтательный туман...
А мне идти с моим заводом,
Опять не выполнившим план.

А мне дорогами крутыми
На поиск небывалых дней
Идти с соседями моими,
Со всей оравой их детей.

А мне шагать с моей любимой
Сквозь кухонный переполох,
С моей нигде не заменимой
И даже в лучшей из эпох.

А мне, забыв о нареканьях,
Без страха, без обиняков,
Ругаться, спорить на собраньях
И наживать себе врагов.

Горячим словом,
Словом бьющим,
О, если б мог я передать
Всю ненависть к лениво ждущим —
Жизнь слишком коротка, чтоб ждать!

До времени —
Пока вы ждете —
Моя седеет голова...
Ведь вы же нашу жизнь крадете,
Как сок земли —
Полынь-трава!

ИМЯ

Как только станем взрослыми,
Займем какой-то пост,
Начнут долбить вопросами:
— Где жил?
— Как жил?
— Как рос?

И кто бы ни расспрашивал,
Я честно отвечал:
— Жил бедно.
Все донашивал
Со старшего плеча.

Рос быстро.
Скажем, валенки.
Войдешь в их пустоту
И сразу видишь — маленький.
А делать что?
Расту!

По слову
Жизнь мне давшего
В торжественной ночи,
Вот так от брата старшего,
Меня не увидавшего,
Я имя получил.

А имя то хорошее,
Браток звался Василь,
Немного было ношено.

Отец сказал:
— Носи.

На мне одежда латана
Сгорала, как в огне,
И только имя братово
По-прежнему при мне.

Его точили недуги,
Не делая старей,
Его трепали недруги,
А имя все добрей.

*

Вспоминается детство
И мать моя, жница,
Пятистенной избы
Вековой полумрак,
А в переднем углу
Вся в иконах божница,
На которой я прятал
Свой медный пятак.

У меня был расчет,
Да к тому же и тонкий,
Что не каждый решится
К богам на визит.
Ну, а ежели что,
Любопытной сестренке
Николай Чудотворец
Перстом погрозит.

Ото сна и ко сну
Перед Девой Пречистой
Бестолково взлетала
Моя пятерня.
А уж старшие были
Давно коммунисты,
Между ними и мамой
Шел спор за меня.

Я душою —
То к ним,
То к обиженной маме,

А у мамы дела
Да привычка страдать.
И однажды в грозу
Перед всеми громами,
Есть ли бог или нет,
Я решил испытать.

Помню,
Воздух от молний
Взрывался, как порох,
Наплывала тяжелая,
Душная гарь.
Я решил.
Я взбежал на Астахов пригорок.
Я, бледнея, сказал:
— Если есть ты — ударь!

И ударило.
Молния трижды сверкала.
Трижды неба разлом
Надо мною зиял.
Трижды детское сердце мое
Замирало.
А потом — ничего,
Отошло.
Устоял.

Был тот день для меня
Днем второго рожденья,
Днем начала открытий,
Исканий моих.
Если я убежден,
Нерушимы мои убежденья,
Потому что
Я жизнь свою ставил за них.

ДРЕВО ЖИЗНИ

Сосна тянулась вверх.
У ней
С годами крепли ствол и ветви,
И протекало меж ветвей
Неторопливое столетье.

Потом начался век второй,
И поднялась она высоко,
Под грубою ее корой
Прошли и загустели соки.

По жильному прошли стволу,
Чтобы в надрезах заструиться
Живой смолой,
И ту смолу
Назвали старики живицей.

Божественная кровь сосны,
Добытая в древесной ранке,
В дни самых страшных дней войны
Сжигала вражеские танки.

А у нее медовый вид,
На ней и звезд и солнца трепет,
Приложишь к ране — заживит,
Приправишь краску — краски скрепит.

А сердце? Вечно ли оно?
Но капля сдобренной живицы,
Как многолетнее вино,
Заставит сердце чаще биться.

Недаром
С нежностью в глазах,
За службу верную Отчизне,
Сосну столетнюю в лесах
Зовут, как должно, —
Древом жизни.

*

Не знаю, как вы,
Но случалось со мной,
Что вспоминаю ее и краснею.
Давно это было.
За партой одной
Три года сидели мы с нею.

Был мягок,
Был тонок волос ее лен,
Простую лишь знавший укладку.
Скажу откровенно,
Что был я влюблен
До крайности в каждую прядку.

Но ей
Ничего я тогда не сказал
И, чтоб не казаться беднягой,
Уехал в деревню и землю пахал
Простою двуконною тягой.

Пьянила земля,
И тепла и черна,
Смутила хмельное сознанье,
И в город, где стала учиться она,
Мое полетело признанье.

С надеждою
Ждал я от милой ответ,
Предавшись фантазии яркой.
Однажды мне подали синий конверт
С огромной красивою маркой.

Читать побежал
В молодой березняк,
Где часто бродил одинокий.
Не очень-то нежный,
Я сердцем размяк,
Увидев приветные строки.

Пока о стороннем беседа велась,
Был почерк ее одинаков;
Пошло про любовь — и увидел я вязь
Неясных готических знаков.

Что делать?
Вдруг свет в мою душу проник.
От счастья лицо разулыбив,
Любовное слово я чудом постиг,
Прочел по-немецки:
«Их либе...»

И помню, тогда же
В любовной тоске
Решил я, о школе мечтая,
Что эту строку
На чужом языке
Когда-нибудь всю прочитаю.

Два года
Сквозь дебри глаголов чужих
Спешил я к строке сбереженной.
Письмо развернул я.
«Их либе дих нихт!» —
Прочел, огорченьем сраженный.

О, знать бы тогда,
В том зеленом леске,
Чтоб совесть не знала уколов,

Что все отрицанья
В чужом языке
Ставятся после глаголов.

За многие годы
Изжил я вполне
Остатки наивности детской.
Но все же краснею,
А главное — мне
С тех пор не дается немецкий...

*

Я шел тропой.
След детства моего
Заштопан был щетинкою зеленой,
Но, как и прежде, у сырых обочин
Цвел пышный дягиль и росла куга.

А чуть повыше —
За дымком зеленым
Молоденьких берез, стоявших рядом,
Черемуха белела, словно платье
Подружки, караулившей меня.

Мне вспомнилась она.
Меж тем тропинка
Вела меня все дальше:
На опушке
Открылось мне село и па отлете —
Двор МТС и пятистенный дом.

Я подошел к крыльцу, и, не гадая,
Не думая о том, как в доме встретят,
Поднялся я на шаткие ступени,
Тихонько постучался и вошел.

Меня не ждали.
Мальчик крикнул:
— Мама! —
На зов его из комнаты соседней
Метнулась женщина, она спросила:
— Вы не к Сергею?

— Нет, я не к Сергею...
— А вам кого?
— Наташу... —
Удивленно
Взлетели брови, и густой румянец
Залил ее лицо, она сказала
Застенчиво и тихо:
— Я Наташа...

Сказала так застенчиво и тихо,
Как будто предо мною извинялась
За то, что лишь девическое имя
Сквозь годы пронесла без перемен.

Что говорить, она была красива
Неяркою, но милой красотою —
С большими незнакомыми глазами,
С чужим лицом и голосом чужим.

— Так это же ведь ты?! —
И засмеялась
Тем радостным и тем задорным смехом,
Как будто это прежняя Наташа,
В ней спрятанная,
Голос подала.

Сначала голос, а минутой позже
Я видел на лице ее красивом,
Хоть все еще чужом и незнакомом,
Те прежние, Наташины глаза.

И странно было видеть, как, меняясь
И голосом, и жестом, и глазами,
То девочка заговорит со мною,
То женщина степенно перебьет...

В своей любви двоиться не умея,
Их слушая, я понял по всему,
Что женщина была верна Сергею,
А девочка, как прежде,
Не ему...

*

А. Коптелову

Наш сад похож, когда цветет,
На белую метелицу...
В нем яблоня не вверх растет,
А над землею стелется.

Она садовником своим
Нисколько не унижена
И лишь на случай вьюжных зим
К родной земле приближена.

*

Я ие завидую орлам,
Парящим в небе голубом.
Я сам бываю часто там,
Где видно на сто верст кругом.

С невероятной высоты,
Где кровь хмельная бьет в виски,
Земной не видя красоты,
Я, верно, умер бы с тоски.

Любые страхи нипочем,
Но я страдал,
Когда внизу
Река казалась мне ручьем,
А пруд похожим па слезу.

И даже город мой мельчал
И становился все бедней.
Я с высоты
Не замечал
Снующих по нему людей.

Я с неба совершал побег.
Меня оттуда вниз несло,
И все, что создал человек,
Опять росло,
росло,
росло...

Я не завидую орлам.
Земной — с земли не убегу.
Я человеческим делам
Не удивляться
Не могу.

СЛЕПОЙ

Людей не видя пред собой,
Не замечая в сквере лавочки,
По улице идет слепой,
Потрагивая землю палочкой.

Его толкнут,
Пройдут вперед,
И тотчас, торопясь вмешаться,
Какой-то зрячий призовет
Быть чуткими
И не толкаться.

Но слышу голос я его,
Негромкий в человечьем гуде:
— Толкайтесь... Это ничего...
Я буду знать,
Что рядом люди.

*

И. Мухачеву

Отцветает тополь,
Белый пух кружится.
Покружившись вдоволь,
На виски ложится.

Стал он сединою,
Этот пух крылатый...
Наконец-то мною
Найден виноватый.

ДИКИЙ МЕД
(1955—1958)

СЕРДЦА

Все испытав,
Мы знаем сами,
Что в дни психических атак
Сердца, не занятые нами,
Не мешкая займет наш враг,
Займет, сводя все те же счеты,
Займет, засядет,
Нас разя...
Сердца!
Да это же высоты,
Которых отдавать нельзя.

СУДНЫЙ ДЕНЬ

Я сам себя судил,
И суд был очень строгим,
Перед тобой, народ,
Я провинился многим.

А начались грехи
Для молодых обычным:
Свой дар писать стихи
Считал я даром личным.

Второй мой тяжкий грех,
Прощавшийся другими:
Я думал, неуспех
Хулит мое лишь имя.

А недругов своих
Нападки злые встретив,
Я отступал от них —
И в этом грех мой третий.

Судьбу свою связав,
С народною судьбою,
Я не имею прав
Пренебрегать собою.

РАБСКАЯ КРОВЬ

Вместе с той,
Что в борьбе проливалась,
Пробивалась из мрака веков,
Нам, свободным,
В наследство досталась
Заржавелая рабская кровь.

Вместе с кровью
Мятежных,
Горячих,
Совершавших большие дела,
Мутноватая жижица стряпчих,
Стремянных
В нашу жизнь затекла.

Не ходил на проверку к врачу я,
Здесь проверка врача но нужна.
Подчиненного робость почуяв,
Я сказал себе:
Это она!

Рос я крепким,
Под ветром не гнулся,
Не хмелел от чужого вина,
Но пришлось —
Подлецу улыбнулся
И почувствовал:
Это она!

Кровь раба,
Презиравшая верность,

Рядом с той,
Что горит на бегу, —
Как предатель,
Пробравшийся в крепость,
Открывает ворота врагу,
Как лазутчик,
Что силе бойцовой
Прививает трусливую дрожь.

Не убьешь ее пулей свинцовой
И за горло ее не возьмешь.

Но борюсь я,
Не днями — годами
Напряженная длится борьба.
Год за годом,
Воюя с врагами,
Я в себе
Добиваю раба.

РОВЕСНИЦА

Она стара,
Не дружит с лестницей
И всходит на нее, ворча,
Односельчанка и ровесница
Володи,
То есть Ильича.

А встретится с юноголосыми, —
И начинает вспоминаться,
Что бегала в ту пору с косами,
Что было ей тогда семнадцать.

Ребята зашумят:
Мол, вспомните
И расскажите, как все было.
И вспомнит, что стирала в омуте
Белье
И мыло обронила.

А день-то выдался ненастный,
И он глядел на речку с камня.
— Что, мыло?! —
И воскликнул радостно:
— Предлог прекрасный для купанья!

У лодок,
Спавших кверху доньями,
Разделся он,
Над головою
Похлопал этак вот ладонями,

Нырнул —
И скрылся под водою.

Всплыл шумно,
Мыло бросил к тазику
И пошутил он, улыбаясь:
— Представьте, отнял у карасиков —
Они от ила отмывались!

Замолкла.
В памяти полощется
Белье,
В глазах вода текучая...
Ребята снова к ней,
Им хочется
Услышать про другие случаи.

Сказала тоном неуверенным:
— Когда бы я, ребята, знала,
Что будет он, Володя,
Лениным,
Тогда б я все запоминала.

«НЕИЗВЕСТНАЯ»

Если белые вихри навстречу летят,
Проезжая село, не погреться рисково...
В Кулундинской степи,
В третьей чайной подряд,
«Неизвестную» мы повстречали Крамского.

И пока чистим ржавую воблу,
Пока
Делим горькую водку
По стопке на брата,
«Неизвестная» смотрит на всех свысока,
Приподняв свои длинные брови крылато.

Под бровями
Тенистых ресниц густота,
Под ресницами грусть
И чуть-чуть удивленье,
В добрых линиях губ —
Чистота, красота,
О которых тоскует мое поколенье.

Отогрелась душа, и оттаяла боль,
Незажившая рана, как прежде, заныла...
Гроздь увидев
Косы ее темной, как смоль,
Вспомнил ту,
Что своей красоте изменила.

Мне обидно до слез, что ее улестил
Тот, кто нашей мечты

И на шаг не приблизит.
А вот эта,
Которой я все бы простил,
Не обидит других и себя не унизит.

А вот эта, дающая крылья мечте,
В кулундинскую глушь
Не могла не явиться,
Чтобы мы,
Пробиваясь к большой красоте,
На суровом пути не могли заблудиться.

Нас не случай в холодные степи занес,
Мы давно человеческой радостью бредим.
Мы выходим за дверь.
Пусть крепчает мороз
И бушует пурга па дорогах, —
Доедем!

*

Нелегко
Рожденному в Сибири
Нежным быть в метельном мятеже
И слова тяжелые, как гири,
День за днем вынашивать в душе.

Слово — это тяжесть,
Слово — это
До поры неустранимый гнет.
Иль оно пригнет к земле поэта,
Иль поэт
Им недруга убьет.

БАЙКАЛ

Ложась вздремнуть у темных скал,
Не хороня своих секретов,
Мне выражал старик Байкал
Свою обиду на поэтов.

— Они поют меня всегда,
Когда кипит моя вода,
Когда порыв мой дик и бешен,
Но почему-то не тогда,
Когда я тих и безмятежен,

Когда, закончив с ветром спор,
Я вытянусь, решив погреться,
И девушка с высоких гор
В меня приходит поглядеться.

Прозрачный, как одна слеза,
Я неподвижным быть умею.
Ее монгольские глаза
Я сделать у́же не посмею.

На мне приметен каждый блик
И каждый луч,
По мне скользящий...
Быть может,
Этим я велик,
Быть может,
В этом настоящий.

Не расшатать мне вечных скал,
Да, и признаться, труд напрасен. —
Так говорил старик Байкал.
И был с Байкалом
Я согласен.

В ДЕРЕВНЕ

За окном
Густеет сумрак ночи,
Завывает дикий зверь в лесу,
Будто кто-то неумело точит
Острым камнем ржавую косу.

Стареньким железом крыша крыта,
И под ней,
Увенчанной трубой,
Хорошо на время быть забытым
Верными друзьями и тобой.

Не журит никто,
Не утешает
И не покушается на честь.
И ничто на свете не мешает
Видеть мир таким,
Какой он есть.

Плох, хорош ли —
Никуда не деться,
Из него при жизни не уйдешь,
Только знаешь,
Если приглядеться,
Он, по правде,
Все-таки хорош.

Из борьбы,
Из сутолоки вечной,
Весь в крови, в поту,

Едва дыша,
Человек выходит человечней,
И душевнее его душа.

Холод пусть,
И не осилить дрожи,
Пусть всему живому нелегко,
Но в подойник
В этот холод все же
Теплое струится молоко.

Благодарный
Истинам открытым,
Снова я готов на жизнь и бой.
Хорошо на время быть забытым
Верными друзьями
И тобой.

ДЖЕК

Ты бегаешь
По сказке, Джек,
По древней русской сказке, Джек,
Ты бегаешь по сказке леса.
Ты к елке подбежал, мой пес,
На ней, как на лисице ворс,
Снежок рассыпался белесо.

А вдруг,
Заслышав лай и визг,
Придет сюда фельетонист
И поглядит, что ты, овчарка,
Хранишь-де частное добро,
Хоть все мое добро — перо,
Ну, Джек,
И будет же нам жарко!

Но ты
Купаешься в снегу,
От счастья лаешь на бегу,
А я степенный — я гуляю...
Играй, душа моя с тобой,
Нервинкой, клеточкой любой
Твою я радость разделяю.

Над нами
Два поводыря —
Два красногрудых снегиря.

*

Иду,
В молву стоустую
Свой добрый голос влив,
И под ногами чувствую
Шестую часть Земли.

Меня вперед ты выслала,
Чтоб песней жить помог,
Передо мной ты выстлала
Сто троп и сто дорог.

Свои моря глубокие,
Пруды светлей стекла,
Передо мной широкие
Ты реки пролила.

А в пору ту рассветную,
Чтоб радость сердце жгла,
Любовью первоцветною
Меня не обошла.

И в пору гроз губительных,
Грозивших жизни всей,
Ты мне дала решительных,
Испытанных друзей.

Лишь прикажи,
Что выстроить,
Какую песнь сложить.
Мне без тебя не выстоять,
Мне без тебя не жить.

Ты мне сама наградою,
Ты радость мне и грусть,
И верою и правдою
Служу тебе я, Русь.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Скрипят натруженные снасти,
В корму волна сердито бьет...
Купец Никитин Афанасий
Из дальней Индии плывет.

Вокруг кипит морская пена.
Почти утратив русский вид,
Тверич в халате бессермена
На горы крымские глядит.

Там где-то Русь,
Там Волги плесы,
Там Тверь!
Сродни морской воде,
Соленые скупые слезы
Сбегают к русой бороде.

От слез и солнца
Море в блеске,
Дрожит в тумане горный кряж,
И стены Кафы генуэзской
Еще похожи на мираж...

За ним —
Три моря переплытых,
Чужие земли,
Города,
Базары,
Женок непокрытых
Коричневая нагота.

За ним —
Тропические ливни,
И зной,
И бред тревожных снов.
Над всеми золотые бивни
Султанских ряженых слонов.

За ним —
Чужих народов битвы,
И он от родины отвык.
Магометанская молитва
Упрямо лезет на язык.

Волнуясь, шепчет пилигрим:
— Аллах рагим... Аллах керим...

Но вот
Нога земли коснулась,
И, словно к берегу прибой,
Речь русская к нему вернулась
И полилась сама собой:

— Я, Афанасий, раб твой, боже,
Плетусь в родимые поля.
Везде, где был я, нет пригожей
Земли, чем русская земля.

Весной в цветах,
Зимой седая,
То в злате вся, то вся темна.
Вся грешная и вся святая,
Лесная, горная, степная,
Озерная —
На всех одна.

Не жемчуг —
Весть о жизни схожей

Принес я из-за трех морей.
Бояре наши и вельможи
Вельмож индийских не добрей.

Храни ее,
Чтоб укрепилась,
Стояла б до исхода дней.
Храни ее...
И справедливость
Да установится на ней!

*

Грустно мне бывает и тревожно,
Кажется, что сил моих в обрез.
И когда мне станет слишком тошно,
Я иду в дремучий русский лес.

В тишине и сутеми лесной
Думаю о жизни под сосной.

Та сосна корява и стара,
Та сосна сурова и мудра,
Та сосна печальна и спокойна,
Тише струй в большой-большой реке,
Словно мать,
Меня ладонью хвойной
Осторожно гладит по щеке.

Руки приопустит мне на плечи
И ведет со мной такие речи:

«Будь, как я,
Не ставшая покорней
Оттого, что ветер ветви гнет.
Слушай!..
В жизнь пускай поглубже корни.
Как земля,
Она не подведет».

ОСЕННИЙ ЛЕС

В осенний лес,
Как в сон и неизвестность,
Тропинка порыжевшая пряма.
На всем, куда ни гляну,
Вижу трезвость
И строгую задумчивость ума.

Так женщина с прекрасными чертами,
К покинувшему чувства сохранив,
Сидит весь день с открытыми глазами,
В колени рукоделье уронив.

Порой в душе надежда шевельнется,
Что он,
Как только птицы прилетят,
Припомнит дорогое и вернется...
Глаза, не веря,
Холодно глядят.

Лесная речка меж стволов блеснула, —
Я вижу игры волн, давно ручных,
И берега крутые, словно скулы
Сибиряка,
На выгибах речных.

В лесу светло.
Березкам-белоножкам
Укрыться бы за хвойной темнотой.
Подружки озадачены немножко
И смущены своею наготой.

Как девушкам,
Им не во что убраться,
Как модницам,
Обидно им до слез:
Они вчера разделись искупаться,
А ветер взял и платья их унес.

Озябшие,
Они дрожат и гнутся,
Упрятав ноги в коврики из мхов;
Стыдливые,
Они друг к другу жмутся
В кругу рябых
Чубатых женихов.

Иду вперед,
Волнуясь и тревожась
За все, что ни увижу пред собой.
Есть в судьбах леса маленькая схожесть
С большою
Человеческой судьбой.

Ветер ходит метелицей,
Ветер воет пургой,
Как на чертовой мельнице,
Хлещет белой мукой.

Я шагаю к единственной,
Пробиваясь плечом;
Я сегодня воинственный,
Мне пурга нипочем.

Среди ревностью мучимых,
Средь не знавших средин,
Среди смелых и влюбчивых
Я, такой, не один.

Может, ветер, как веником,
Разметая пути,
Дует в спину соперника,
Помогая идти.

В нетерпенье неистовом,
Все вперед и вперед,
Я беру, словно приступом,
За суметом сумет.

Ветер ходит метелицей,
Ветер воет пургой,
Как на чертовой мельнице,
Хлещет белой мукой.

СОЛОВЬИ

Игорю Кобзеву

Жизнь потекла его
И вкривь и вкось:
В работе нелады, раздоры дома.
Раскритикованный насквозь,
В двенадцатом часу
Он вышел из райкома.

Весенний воздух был хмелен и свеж.
Он, как вино, впивал его глотками.
Не разбирая ни дорог, ни меж,
Шагал к реке
То полем, то лугами.

О берег волны полусонно бьют.
Волна отступит,
Прошумит и смолкнет...
А за рекою соловьи поют —
Один присвистнет,
А другой прищелкнет.

Забыть бы о райкоме, и жене,
И «строгаче» своем,
Но отчего же,
Чем песня соловьиная нежней,
Тем на душе становится все горше?

А соловьи смелей:
Мол, мы поем,
Чтоб радость пробудить,

Настроить мысли.
Мы, соловьи, настойчиво зовем
Не к отдыху души,
А к лучшей жизни.

Не развлекаем —
Помогаем жить,
Страдать, любить
Сильней и полновесней.
Вся ваша жизнь
Должна красивой быть,
Как наши песни.

*

Мне сказали:
Полно, море смоет
Боль обид
И пыль земных дорог.
Мне сказали:
Море успокоит
Ото всех прилипчивых тревог.

Вот и море!
Вот оно волною,
Гальками прибрежными шуршит.
Ничего, что пережито мною,
Не смывает —
Только ворошит.

*

Иду,
Кладу упрямый шаг.
Мне горю уступать не хочется.
Ночь ухватилась за пиджак,
Упала наземь
И волочится.

Мне от нее не убежать.
Не только ночь руками черными —
И ветер хочет удержать
Слезами,
Вздохами притворными.

Все о тебе,
Все за тебя!
Под ветками заиндевелыми,
Тобою память бередя,
Блестят сугробов
Груди белые.

Иду по ним.
Не сворочу.
Я поступью неудержимою
Не красоту твою топчу —
Топчу твою повадку лживую.

ВЕСНОЙ

Во мне,
И почему — бог весть,
Когда весна еще в начале,
Есть что-то смутное и есть
Какой-то холодок печали.

Но мысли сердце обожгут
И боль сильнее обозначат...
Почудится, что где-то ждут
И, не дождавшись, тихо плачут.

Все, что любил,
Все, что хотел,
Коснется вдруг сердечных граней,
Как груз незавершенных дел
И неисполненных желаний.

И ничего
Не отложить,
Ни от чего
Не отрешиться.
Мне время это пережить —
Как будто заново родиться.

*

Все в памяти,
И все — живое,
И обо всем душа болит.
Иду ли по лесу, где хвоя,
Как море южное, шумит;

На пень ли старый там присяду,
Качнется ль надо мной сосна, —
Все чудится, что где-то рядом
И берег тот,
И та волна.

И ты,
Чье повторяю имя,
Почудишься невдалеке.
Волна к волне...
И ты меж ними
Качаешься, как в гамаке.

Все дорого,
Все сердцу близко!
И если дрогнет мокрый куст,
Мне кажутся лесные брызги
Солоноватыми на вкус.

*

Мне о том слагать бы оды,
Что за свой короткий век
Я купался в синих водах
Двадцати сибирских рек.

Были реки и речонки,
И на каждой — чуть прилгу —
По заплаканной девчонке
Оставлял на берегу.

Полюбил я реки края
За раздолье и простор,
Начиная с речки Яя,
Что течет с Кузнецких гор.

Я не знаю, счастья полный,
На Пышме иль на Оби
Набегающие волны
Мне напели о любви.

И сегодня погружен я
В мысли, чувства той поры,
До сих пор заворожен я
Островами Ангары.

Там росла тогда малина,
Вился белый хмель в кустах.
Валентина, Валентина,
Расскажи мне, Валентина,
Что теперь на островах?

*

Дымок свивается в колечки...
Должно быть, начал я стареть,
И потому, присев у печки,
На огонек люблю смотреть.

Горят сосновые поленья,
Дрожит на них огонь,
И мне
Далекой юности виденья
Являются на том огне.

Трещат дрова.
При каждом звуке
За огненною белизной
Я вижу, как ломает руки
Любовь, покинутая мной.

Почудится:
Огня извивы
Ей молодое тело жгут.
И станет на душе тоскливо,
Как будто вызван я на суд.

Гляжу,
Уставясь без улыбки
В лицо косматого судьи,
И вижу все свои ошибки,
Все заблуждения свои...

Но вот
И печь отрозовела,
Кудряшек дымчатых не вьет...
И всё, что мучило, —
Сгорело,
А что не мучило —
Живет.

*

Твердишь ты,
Что расстаться нам пора,
Что ты в своих надеждах обманулась,
Что вся моя любовь к тебе —
Игра.
Не слишком ли игра подзатянулась?

Игра в любовь,
Я знаю, не к добру,
Игра в любовь коротенького срока.
Семь лучших лет потратить на игру,
Семь лучших лет!
Не слишком ли жестоко?

Старею я,
Люблю тебя одну.
Седею я до времени, до срока.
Семь лучших лет отдать за седину,
Семь лучших лет!
Не слишком ли жестоко?

*

Как умру,
Мое забудь ты имя.
После ласк
В полночной тишине
С лучшими, чем я...
Да, да, с другими
Говорить не надо обо мне.

Жены о мужьях,
Чтоб стыд утишить,
Нежно говорят, других любя.
Мне,
Когда случалось это слышать,
Больно было так,
Как за себя.

Если спросят,
Что так мало жил я,
Ты в своем ответе не таи
То, что я страдания чужие
Принимал все время
Как свои.

ЛАНДЫШИ

Ларо

Девочка кричала
В толпе шумливой:
— Ландыши! Ландыши! —
Взял букетик, подал любимой.
— На! Дыши!

Залюбовалась букетом белесым,
Лучшим из моих подношений.
— Пахнут, — сказала, —
И лугом, и лесом,
И холодком
Наших с тобой отношений.

Я об этом подумал тоже
И, подумав, взгрустнул от души,
А девочка кричала,
Кричала прохожим:
— Ландыши! Ландыши!

*

Все тихо.
У берега тонет закат.
Все тихо — ни ветра,
Ни всплеска не слышно.
На камне мальчишка сидит неподвижно,
И полон восторга мальчишеский взгляд.

И жалость
В моей шевельнулась груди:
Так долго и пристально ты не гляди.
Вот так же когда-то и я засиделся,
Вот так же когда-то и я загляделся,
И так же, великое чудо творя,
В глазах моих детских
Металась заря.

С тех пор,
Не идя на уступку, я чту,
Как веру свою, лишь одну красоту.
И встречусь ли с нею,
Расстанусь ли с нею,
Мне радостней радость
И боль мне больнее.

Послушай, тебе говорю неспроста:
Нам трудно дается земли красота.

НЕ ЛЕВЕЕ СЕРДЦА
(1958—1960)

*

Ни в благодушии ленивом,
Ни в блеске славы,
Ни в тени —
Поэт не может быть счастливым
В тревожные для мира дни.

Беря пророческую лиру,
Одно он помнит
Из всего,
Что все несовершенство мира
Лежит на совести его.

*

Мы спорили
О смысле красоты,
И он сказал с наивностью младенца:
— Я за искусство левое. А ты?
— За левое...
Но не левее сердца.

СЛОВО

От беды к беде,
От боя к бою,
От большого до большого дня —
Кто сказал,
Что нам легко с тобою,
Дорогая Родина моя!

Мы выносим бремя вековое,
Мировое побеждаем зло,
Потому и слово трудовое
В честный стих
Ложится тяжело.

Я словам
Не всяким доверяю.
Прежде чем доверить душу им,
Я слова на крепость проверяю,
Выверяю именем твоим.

Чтобы смертью скорой
Не почить им,
Я препоручаю чувства,
Мысль
Тем словам,
Что не за чаепитьем,
А в труде нелегком родились.

Только тем,
Что поднялись из глубей
Доброй человеческой души,
Нынче не до мелких честолюбий,

Не до славы,
Стоящей гроши!

От беды к беде,
От боя к бою,
От большого до большого дня —
Нам легко
И нелегко с тобою,
Дорогая Родина моя!

*

Поет петух золотоперый,
И раз поет, и два, и три...
Мне у костра любви и веры
Еще дежурить до зари.

Его огонь высок и вечен,
Он искрой выпал из кресал;
С тех пор как зверь очеловечен,
Он никогда не погасал.

Я от него гоню измену
И ворошу в нем угольки...
Уже идущего на смену
Я слышу дальние шаги.

*

И бог
И черт —
Они все время в паре:
Талант с бездарностью
Не развести.
На каждого из нас
Есть свой Булгарин,
Готовый доглядеть
И донести.

Где лев,
Там и шакал,
Шакаля, ищет
Отброшенную кость
В густой траве.
Порою лев
Не доедает пищи,
И потому шакал
Всегда при льве.

Прошла пора
Булгаринских доносов,
Но жив Булгарин,
Хоть и не в чести.
Поэт, будь строг:
Не оставляй отбросов,
Пусть он, шакал,
Подохнет без кости!

КРАСИВЫМ

Люблю красивых...
Жизнь их,
Быт их,
Глаза,
Улыбку,
Добрый смех
Воспринимаю
Как открытье,
Наиглавнейшее из всех.

В них все:
И ум,
И обаянье,
И гордый жест,
И поступь их —
Мне явится
Как оправданье
Всех мук моих,
Всех слез моих.

Зачем
Прекрасными чертами
Так полно
Каждый наделен?
Красивые,
Они за нами
Пришли
Из будущих времен.

УЛИЦА

Нет, Владимир Владимирыч,
Люди — не лодки.
Не по шелку проплыл
Восхитительных вод.
Возвратился домой,
Посмотрел на подметки:
Все расход и расход!

Город.
Улицы.
Скверы.
Аллеи.
Мне б идти с молодой
И себя молодить.
Но из тяжких работ
Я работы не знал тяжелее
И заботы трудней,
Чем по улице шумной бродить.

Устаю.
Вот и голову свесил.
В нашей улице люди живут не впотай.
Наша улица — это эпоха в разрезе,
Это книга судеб:
Проходи и читай!

Сколько лиц,
Сколько глаз,
Сколько всяких соцветий:
Грустных,

Тусклых,
Счастливых!
Не стану скрывать,
Что счастливые все
У меня на особой примете,
Потому что счастливых
Должно прибывать.

Прибывают пока понемногу.
Только встречу такого —
И праздник в груди,
Будто сам его создал,
Исправил все промахи бога.
Он домой —
Я за ним:
— Погоди!..
Походи!..

Куба!
Свергнут тиран.
Ну, казалось бы, Куба далече
И кубинцы от нас далеко-далеко.
А на улице нашей
Человеку вдруг стало полегче.
Он еще не поймет почему,
Но — легко!

А когда человек нашей улицы плачет,
Когда в горе и гневе сжимает кулак, —
Значит, где-то у нас неудача,
Значит, где-то и что-то
Не так.

В нашей улице шумной
Не место слезливым;
Наши люди умеют с бедой воевать.

Как же с этим решим?
Мы должны его сделать счастливым,
Потому что счастливых
Должно прибывать.

*

Гордиться?
Чем?
Стихом?
Едва ли!
Уж лучше нищему — сумой.
Меня словами награждали
Все говорившие со мной.
Я строчкой этой,
Мыслью этой
Лишь занятое отдаю.
Ты,
Он,
Весь мир
И вся планета
Работали на мысль мою.
Любовью,
Счастьем,
Строчкой,
Книгой
Дань отдаю другим творцам.
И даже ненавистью дикой
Я весь обязан подлецам.
Я весь в долгах,
Куда ни сунусь,
Повсюду забрано вперед.
Минули
Отрочество,
Юность,
Приходит зрелость...
Долг растет!

*

Я писатель —
Не пустой мечтатель,
Никакого зла не убоюсь,
Все ж с тревогой
За переключатель
Радиоприемника берусь.

Предо мной
Глазок в тот мир трепещет...
Шум прошел, мне душу омрачив,
Будто птица черная зловеще
Прошумела крыльями в ночи.

Загудела,
Зашепталась хвоя...
А за нею, где-то вдалеке,
Где-то за морями волки воют
На моем,
На русском языке.

Наш язык,
Все беды переживший,
В чистоте прошедший по векам,
О, язык наш,
Ленину служивший,
Как ты дался, праведный, врагам?

Человек
Характера незлого,
Знающий давно,

Где яд,
Где мед,
Против слова я бросаю слово,
Против самолета — самолет.

КАРЕЛЬСКАЯ БЕРЕЗА

Мороз морозил,
Ветры дули.
Всю жизнь,
Безжалостны и злы,
Они ее крутили,
Гнули,
Вязали в скорбные узлы.

И вот шкатулка.
Как красивы
Для нас открывшиеся вдруг
Пересеченные извивы
Ее преодоленных мук!

Гляжу влюбленными глазами
И думаю:
«Она мила
Не тем,
Что мучилась годами,
А тем,
Что все-таки
Жила».

*

Мне жизнь моя —
Не темный лес,
Но странно иногда до жути,
Как будто с голубых небес
Спустился я на парашюте.

Как будто жил в других мирах
И все, что вижу, — неизвестность,
Как будто где-то в дальних снах
Я смутно видел эту местность.

И здесь,
Отмеченный судьбой,
Любуюсь я травою в росах,
Березами за городьбой,
Кукушками на тех березах.

Живу,
Влюбляюсь
И дивлюсь,
Что, разлучая с небесами,
Судьба мне подарила Русь
С ее полями и лесами.

И это все
День ото дня
Люблю все искренней и пылче,
Но скептики твердят,
Что я
Годами жизни ограничен.

— Да, да! — твердят. —
Как ни ликуй!
И я кричу в листве плакучей:
— Кукушка, друг, перекукуй
Мне молодость
На всякий случай.

ЗАБЫТАЯ ДОРОГА

Она,
Колесная,
Копытная,
Нелегкий груз перенесла,
С годами всеми позабытая,
Травой густою поросла,
Цветами синями я белыми
Над влажной мякотью дерна
И стебельками переспелыми
От очень давнего зерна.

Веселый,
С новыми замашками,
Придя от улиц городских,
Я потянулся за ромашками,
Но оступился и притих.

И вышло в глубях сердца скрытое,
Как вышла из небытия,
С годами мною позабытая,
Дорога старая моя.

И появилась мысль тревожная,
Что очень многие из нас
На прошлом,
Позабыв то прошлое,
Еще оступятся не раз.

*

Я не люблю немые реки,
Я говорливые люблю,
Их перекатные разбеги
И волн веселую гульбу.

Не сорванными якорями,
В глуби обретшими покой, —
Они богаты пескарями...
Я, тихий, вырос на такой.

Река моя
Меж берегами
То меркнет, то в лучах горит.
Она с веселыми стрижами
О чем-то нежном говорит.

Да, не со мной,
Жалевшим время
На ласку этих милых вод,
А разговаривает с теми,
Кто прилетает каждый год.

Ворчит,
Как будто мне двенадцать,
Все сердится, а я молчу,
Хотя и мог бы оправдаться,
Но оправдаться не хочу.

Лежу,
Гляжу в туман глубинный,

Где окунь водит плавником.
Как перед женщиной любимой,
Мне, виноватому,
Легко.

ОСЕНЬ

Куда ни глянешь,
Всюду лес горит,
Горит легко, бестрепетно и тихо.
Мне осени печальный вид
Татарское напоминает иго.

Когда гляжу на одинокий клен,
То начинаю видеть за туманом,
Как по холмам
Из пасмурных времен
Кочевник скачет на коне буланом.

Склонясь
Над самодельною стрелой,
Любуется он, лошадь понукая:
Вот вспыхнул наконечник смоляной,
Вот натянулась тетива тугая...

Запели стрелы,
Словно осы в зной,
Как в дни осад,
На башни крепостные
Попадали за хвойною стеной —
И запылали терема лесные!

Там дуб,
Там куст рябины запылал,
Огонь осины стал еще багряней.
А злой ордынец все скакал, скакал,
Скакал и мстил
За неуплату дани.

Осенним днем
Я вспоминаю зло,
Ушедшее навеки, безвозвратно.
Весь лес горит, а на душе светло.
Вся Русь горит,
А на душе отрадно.

СЕВЕР

В лицо нам ветер бьет морской.
К Полярному пришли мы кругу,
И сердце полнится тоской,
Тоскою севера по югу.

Неизъяснимою тоской
По нашей беленькой березке,
По солнцу,
По твоей прическе,
Придуманной когда-то мной.

Где трав зеленые шелка?
Здесь мхи пестреют, как заплаты.
Вот так в одежду бедняка
Притворно рядится богатый.

Здесь иву стужей повело,
А на глубинах под кустами
Окаменевшее тепло
Лежит тяжелыми пластами.

За склады
Каменных углей,
Прикрытых мохом и морошкой,
Холодный север,
Как людей,
Встречаем мы не по одежке.

ПЕЧОРА

Река Печора,
Лебедь белая,
Средь неприветливых полей
Плывешь ты, чистая и светлая,
Светлее юности моей.

Селенья встретятся
И минутся.
Лебяжьи крылья на ветру
То слишком широко раскинутся,
То сложатся —
Перо к перу.

Плывешь ты
Мимо скудной пашенки
На дальний поклик лебедят,
И зачарованная важенка
Глядит из тундры на тебя.

Неси меня
К сердцам непочатым,
В студеные неси моря...
Мне на крыле твоем узорчатом
Приснилась молодость моя.

МОРОШКА

Пустынно.
Ни тропинки.
Ни дорожки.
Замшелые холмы,
Как волны
В шторм,
И запах
Подмороженной морошки
Напоминает что-то...
Что же?
Что?

И тучи,
И гагары
Слезным криком,
И солнце
Погасающим лучом
Напомнили
О чем-то о великом,
О чем-то скорбном...
Но о чем?
О чем?

Да, да — морошка...
Поданная с ложки...
Представил,
Как в боренье с немотой
Ослабший Пушкин
Попросил морошки.
Вот этой самой,

Кисленькой немножко,
Вот этой самой,
Скромной и простой.

И, глядя
На полярную зарю,
Сказал я тундре,
Что вокруг лежала:
Благодарю.
За то благодарю,
Что в смертный час
Его ты утешала.

ОЗЕРО КАЙДОР

Мне память горше,
Чем родни укор.
В моей деревне,
Что стоит высоко,
Есть озеро по имени Кайдор,
Все в звездах лилий
И в кудрях осоки.

Есть уголок среди травы густой,
Где можно искупаться и напиться;
Есть бухточка, где бережок крутой
Всегда в следах
Точеного копытца.

Как тот больной,
Что беспричинно чах,
Шел я лечиться к одному, к другому
И, разуверившись во всех врачах,
Побрел с поклоном к знахарю седому.

В обход деревни
По густой стерне
Несу Кайдору боли и невзгоды.
Здесь,
Прежде чем пойти к своей родне,
Я исполняю ритуал прихода.

А приходить стараюсь на заре,
В тот ранний час,
Когда туманны дали,

Чтоб из домов, стоящих на горе,
Меня ничьи глаза
Не увидали.

И мы вдвоем:
Лишь озеро да я —
Душа моя да сонных вод разливность,
И, ничего на сердце не тая,
Снимаю все —
Одежду и стыдливость.

Шепчу воде:
«Как в детстве, обними,
Дай чистой ласки маленькую малость!
Сними печаль,
Сними с меня усталость
И тяжесть лет добавленных
Сними!

Я был доверчив,
Стал я к людям строже,
Порой смолчу и чувства утаю.
Я трижды был обманутым,
И все же
Ты мне верни доверчивость мою.

Пусть ошибусь,
Пусть огорчат, расстроят,
Пусть снова заблужусь
В сердцах людских.
И все-таки уверен — люди стоят,
Чтоб жизнью,
Счастьем я платил за них!»

Так я веду
Языческие речи,

А сам иду.
Вода уже по грудь.
Вода уже давно покрыла плечи,
Вода все выше, выше...
Не вздохнуть.

Меня вода Кайдорова милует, —
Должно быть, я воде ответно люб.
Она целует в губы,
В лоб целует
И поправляет поредевший чуб...

Мне память горше,
Чем родни укор, —
Уже три года в час отдохновенья
Не приходил я к озеру Кайдор,
Не исполнял обряда
Обновленья.

*

Где глухие своды нависали,
Новое прорублено окно.
Здравствуй, лес,
В твоем Колонном зале
Не был я давно.

Ты скажи мне,
Тихий и мятежный,
Дорого ль платил
Мастеру,
Который так небрежно
Свод позолотил?

Сколько дней,
Незримый и для зрячих,
С властью без границ,
Бродит здесь
Непрошеный подрядчик
И пугает птиц.

Все они давно поулетали
В новое окно...
Здравствуй, лес,
В твоем Колонном зале
Не был я давно.

РЯБИНА

Мне даже страшно —
Так она тонка.
Так высока!
При каждом резком звуке
Дрожит
И от любого ветерка
Все гнется
И заламывает руки.

Придет гроза,
И буря налетит,
Всю до земли согнет
И распластает...
Гром отгремит,
Громада туч истает.
Взгляну в окно:
А тонкая стоит!

*

Тебе обычный
День ненастный
Страшнее наших зимних вьюг.
Я не люблю, когда ты праздный,
Беспечно говорливый Юг.

На пляжах
Я не стал веселым,
От блеска солнца не ослеп.
Тот сдержан,
Кто трудом тяжелым
Свой зарабатывает хлеб.

Я даже ласкам непокорен.
Мне завтра, счастью вопреки,
От солнца и объятий моря
Идти в объятия пурги.

Чем ты теплей,
Тем горше мысли,
Тем тяжелей мне твой полон.
Так с буднями суровой жизни
Нас ссорит
Слишком легкий сон.

*

Уйти?
Уйду!
Такой тропою,
Чтобы сам черт
Найти не смог.
Да, это правда,
И с тобою
Бывал я часто одинок.

Бывало, надвое расколот,
Сидел я в смутной тишине,
И часто отчужденья холод
Закрадывался в душу мне.

Пойми,
От сладкого начала
До этих поздних горьких дней
Ты безотчетно расточала
Мою любовь,
Не дав своей.

И нисходило
К изголовью
Виденье юности...
Тогда
Перед ее большой любовью
Во тьме
Сгорал я со стыда.

И на тебя глядел я строже —
Как на минувшую беду...
Ну что же, милая,
Ну что же,
Ты говоришь — уйти?
Уйду!

*

Зимний ветер,
Гигикни над елью,
Над сосной, где укрылся глухарь,
Закружи меня белой метелью,
Подними
И о землю ударь.

Сделай так, чтобы в снежные хоры
Голос рощи все время вплетал
Позабытую песню,
С которой
Я когда-то легко засыпал.

Песню матери,
Певшую в горе
О наказе купца,
Чтоб жена
К беспокойному синему морю
Не водила коня-бегуна.

«Он приказывал,
Он наказывал,
Не води коня на синѐ море,
На синѐ море,
На быстру реку.
А она его не послушалась,
Повела коня на синѐ море,
На синѐ море,
На быстру реку...»

Мать споет
И сама прослезится.
Под старинную песню ее
Пусть засну я,
И пусть мне приснится
Ускакавшее счастье мое.

ЛЮБОВЬ И ХЛЕБ

Через улицу,
Через будни,
В нежных чувствах
Не сразу понятый,
Добрый хлеб
Под названьем «спутник»
Несу на руке приподнятой.

Скажут:
Хлеб — избитая тема.
Я иду и смеюсь над такими,
И несу домой каравай, как поэму,
Созданную сибиряками,
Земляками моими.

Этим румяным,
Этим горячим,
Пахнущим так заманчиво,
Этим хлебом труд мой оплачен.
Песня моя оплачена.

Но даже самую лучшую песню,
Самую звонкую и земную,
С сухарем в купоросной плесени,
Не стыдясь, зарифмую.

Хлеб несу!..
Поделюсь с женою,
Не скупясь на слова хвалебные.
И припомнится детство мое ржаное,
Юность моя бесхлебная.

С лебедою,
С трухою всякою
Ел «тошнотник» с корочкой тусклой.
А если встречалась булочка мягкая,
То она уже
Называлась французской.

Хлеб несу!..
Удивляются, вижу,
Даже только что евшие
С белого блюда.
Но стоило мне приподнять его
Чуть повыше,
И все увидели чудо.

Сразу пришло
Давно знакомое:
Поле и молодость
С днями непраздными.
Сладко запахло старой соломою,
Мятой-травой
И цветами разными.

И увиделось как воочью:
И косьба,
И стогов метание,
И межа, бегущая к ночи,
И на меже
С любимой свидание.

Любовь и хлеб —
Извечные темы.
Славя хлеб, как любимой имя,
Несу домой, приподняв его,
Как поэму,
Созданную сибиряками,
Земляками моими.

*

Предо мною
Новый трудный путь.
Помоги усталость мне стряхнуть,
Помоги от прошлого забыться,
Новые желанья пробуди,
Помоги душою обновиться
Для большого, трудного пути.

Обнови
От недугов и хворей
И от наговоров обнови,
Ты моя,
Испытанная в ссоре,
В добром мире,
В неутешном горе,
В беспокойном счастье
И любви.

*

До того,
Как средь множества прочих
На твоей появиться земле,
Мимо звезд, набегавших из ночи,
На стальном я летел корабле.

Наши сроки межзвездные кратки:
Там минута — здесь жизнь.
Не таю,
Лишь на время одной пересадки
Забежал я на землю твою.

Забежал,
У огня отогрелся
И так многое сделать хотел,
Но в глаза я твои загляделся
И успеть
Ничего не успел.

А меня уже —
Ты ведь не слышишь —
Мой корабль отдохнувший зовет;
Тише ветра,
Дыхания тише
Он сигналы свои подает.

И хочу я
Согласно науке,

Чтобы ты уже с первого дня
Бесконечной
Последней разлуки
Улетевшим считала меня.

*

Ты у меня в гостях была,
Потом ушла в рассвет...
Потом поземка замела
Твой легкий лыжный след.

Потом его мороз сковал,
И я жалеть не стал.
Не по тебе я тосковал,
Не по тебе страдал.

А в марте таяли снега,
И, вскрывшись по весне,
Через лога,
Через луга
След снова вел ко мне.

Пришел апрель.
Уже в конце,
Упрямей всех замет,
Как на хрустальном поставце,
Лежал твой лыжный след.

* •

Семнадцать...
Двадцать...
В годы те,
Что понимал я в красоте?!

Румянца ль видя густоту
Иль бровь, приподнятую круто,
Я счастлив был,
Я красоту
С беспечной молодостью путал.

Теперь мне далеко за тридцать,
И потому тоскливей пса
Бездомного
Гляжу я в лица,
Ищу любимые глаза.

Ровесниц вижу увяданье,
Уже не юности расцвет,
А пережитого страданья
Милей мне
Благородный след.

Давно забылись
Дни свиданий,
Но то стыдливей, то бойчей
Свет запоздалых ожиданий
Все светится в глуби очей.

Румянец спал
Пыльцой цветочной,
И бровь не просто приподнять.
Та красота была непрочной,
А эта...
Эту не отнять.

ТРАВНИЦА

Разгоряченная мечтами,
Еще в любви не видя зла,
На луг за первыми цветами
Весною девушка пришла.

А следом — старая травница,
Держась за тонкий посошок;
На все, что с девушкой случится,
Она отыщет корешок.

Одна сорвет цветок кудрявый —
И от находки без ума;
Другая с корнем вырвет травы,
Сухие, как она сама.

Одну поманит цвет особый,
С которым ей и сна не знать;
Другая злак сорвет,
Способный
Тоску-бессонницу прогнать.

Девчонка «огонек» разлучный
В косу тяжелую вплела.
Старушка и на этот случай
Траву всесильную нашла.

Идут вдвоем, себя не пряча,
На травах оставляя след.
Влюбленная задаст задачу,
А старая найдет ответ.

НАЧАЛЬНИЦА

Тропой иду,
Ловчась, несу
Две липы, добытых в лесу.
Навстречу в форме новой
Товарищ участковый.
— Куда идешь?
— Домой иду.
— Гм... что несешь?
— Две липы.
— Зачем?
— Чтоб посадить в саду, —
Выдавливаю с хрипом.
И разговор кончается,
Войдя в полутона:
— Кто разрешил?
— Начальница.
— Фамилия?
— Весна!

*

Цветы,
Родившиеся ночью,
Заголубели на заре,
Как будто порванное в клочья,
Лежало небо на траве.

Я вспомнил
Слышанное где-то,
Что небо, захотев вздремнуть,
Ложится на земную грудь
И отдыхает до рассвета.

*

На широком лугу
Пахнет мятой-травой.
Я понять не могу,
Что случилось со мной.

После трудного дня
Не отстала забота.
Беспокоит меня
Позабытое что-то.

Потерявший покой,
Стал я с тайною ношей
Весь какой-то другой,
На себя непохожий.

Весь какой-то иной,
С чистотой изначальной,
Весь устало-земной
И счастливо-печальный.

И себе самому
Говорю я:
— Припомни,
Отчего, почему
Хорошо мне,
Легко мне?!

*

Верю в жизнь, но такую,
Чтоб как реки — с разливом...
Загрущу,
Затоскую,
Если стану счастливым.

Если стану счастливым,
Если стану спокойным,
Если стану ленивым,
Для борьбы недостойным.

От полдневной истомы,
От вечерней прохлады,
От уютного дома,
От цветущего сада
Унесут меня с топотом
Кони огненной масти...

Пропадай оно пропадом,
Мое тихое счастье!

ЛИЦО ВЕКА
(1960—1961)

*

Наше время такое:
Живем от борьбы
До борьбы.
Мы не знаем покоя, —
То в поту,
То в крови наши лбы.

Ну а если
Нам до ста
Не придется дожить,
Значит, было непросто
В мире
Первыми быть.

*

Вождями,
Борцами,
Творцами,
Творивших основу основ,
Россия славна именами
Своих благородных сынов.

От самых
Далеких времен
Мы с гордостью их проносили.
Хоть много имен у России —
Россия
Превыше имен.

ТРУДНАЯ ГОРДОСТЬ

На плитах
Каменных гробов
В музейной запыленности
Я видел головы рабов,
Склоненные в покорности.

И, значит,
В древности седой
Была такая сила,
Что неизбывною бедой
Те головы склонила.

Вчера увидел я плакат.
На нем,
Порвав с покорностью,
Рабочие вперед глядят
С повышенною гордостью.

В них
Битвы дня отражены,
В них
С дерзкой обнаженностью
Все мускулы напряжены
Железной
Напряженностью.

И, значит,
Рядом с добротой
У мира скорбной ношей
Есть сила зла,

И силе той
Сегодня вызов брошен.

В осанке власть,
В осанке страсть,
Но увлеченным новью
Осанка гордая далась,
Увы, не малой кровью.

Веков
Охрипшая труба
Звала на подвиг ратный,
Чтоб вскинуть голову раба
До гордости плакатной.

Но гордость —
Это не покой,
Когда идет сраженье.
У нас от гордости такой
Побаливает шея.

Когда-нибудь —
За то борюсь! —
Придет конец угрозе,
И гордости излишней груз
Мы, как ненужный,
Сбросим.

Тогда
Кого нам отражать?
Тогда начнем мы сами
Спокойно головы держать,
Как держим их
С друзьями.

ЛИЦО ВЕКА

По воле,
По страсти,
По власти отца,
По кротости матери бедной
Достались мне
Крепкие руки бойца
И сердце
Сестры милосердной.

Мне с веком моим,
Поседевшим в бою,
Нетрудно в суровости спеться.
И все ж когда бью,
То как будто бы бью
Свое обнаженное сердце.

Быть строгим велит
Атакующий класс,
Но доброе солнце над нами.
Оплакал друзей я...
Припомнил и вас,
Погибших слепыми врагами.

Не я ли о братстве
Во трубы трубил,
Лихую предвидя годину...
Мне сердце давали
Для полной любви,
А любит оно вполовину.

Все сердце любви
Я отдать не могу,
Какой бы она ни явилась.
Оставил я место, на горе врагу,
Чтоб ненависть
Там поместилась

Неверная злоба,
Как маска, черна
На мудром лице человека.
Мне с жизнью моею
Была вручена
Святая трагедия века.

*

О, Русь моя!..
Огонь и дым,
Законы вкривь и вкось.
О, сколько именем твоим
Страдальческим клялось!

От Мономаховой зари
Тобой — сочти пойди —
Клялись цари и лжецари,
Вожди и лжевожди.

Ручьи кровавые лились,
Потоки слов лились.
Все, все — и левые клялись,
И правые клялись.

Быть справедливой
Власть клялась,
Не своевольничать в приказе.
О, скольких возвышала власть,
О, скольких разрушала власть
И опрокидывала наземь!

У ложных клятв
Бескрыл полет,
Народ — всему судья.
Лишь клятва Ленина живет,
Лишь клятва Ленина ведет,
Все клятвы перейдя.

Народ,
Извечный, как земля,
Кто б ни играл судьбой,
Все вековые векселя
Оплачены тобой.

Не подомнет тебя напасть,
Не пошатнешься ты,
Пока над властью
Будет власть
Твоей земной мечты.

ТРИ ВОДЫ

Горит душа,
Горят сады,
Великий зной
Томит природу.
В извечном поиске воды
Копай, копай —
И встретишь воду.

То будет
Первая вода.
Она неглубоко под нами,
Она питается дождями,
Она бывает не всегда.

Недавно шумный ливень лил,
И вот,
Омывшая все поле,
Она еще под цвет земли,
И в ней еще так много соли.

Близка,
Она вас напоит,
Когда еще стоит прохлада,
Когда и жажда не томит
Ни тела,
Ни души,
Ни сада.

Ищи вторую,
Глубже рой,
И ты дороешься в глубинах

До чистой до воды второй,
Придержанной
На плотных глинах.

Она давно томится тут,
Пути глухие пробивая.
Ее уже охотней пьют,
Хотя она не питьевая.

Струится, будто нити вьет
На глине красной и ослизлой.
Она еще во всем капризна
И в засуху,
Глядишь,
Уйдет,

А ты копай.
Не требуй платы.
Устало не гляди в зенит.
А ты копай,
Пока лопата
Торжественно не зазвенит.

Остановись и жди тогда,
Со дна потерянного русла,
Мерцая холодно и тускло,
Проступит древняя вода.

Она светла.
Не замути.
Она прошла,
Чтоб выйти ясной,
Все мимолетные соблазны,
Все смуты долгого пути.

Она бугрится и дрожит,
Лепечет что-то,

Гальку моя.
Пришла.
Уже не убежит
Ни летним зноем,
Ни зимою.

*

Елки-палки,
Гнезда белкины,
А над ними спевка птиц...
Я хожу по Переделкину
Сам не свой,
Как Датский принц.

И душа моя
Встревожена
И тоскует неспроста:
От прохожих отгорожена
Вся лесная красота.

Как причина
И как следствие,
Слышится ушам моим:
«Мы на грани сумасшествия!..
Не напрасно ли шумим?..»

Обжигают
Мысли гневные,
Что березки, черт бери,
Как красавицы гаремные,
Прозябают
Взаперти.

Сосны
Загнаны во дворики.
Но спасибо высоте,
Потому что все заборики
По колено красоте.

*

Долго
Поклонявшийся железу,
Сделавшийся пасмурней
И злей,
К людям не тянусь,
Тянусь я к лесу.
Мне в лесу
Отрадней и теплей.

Что-то чувствую
В себе больное...
Может быть, порывисто дыша,
Обо все железное, стальное
Иступилась чуткая душа.

Люди — судьи.
Что мне пользы в судьях?
А в лесу, повеселев умом,
Буду снова думать я о людях,
О любимой,
О себе самом.

Веруя,
Что путь еще не пройден,
Сяду в затененном уголке,
Стану свою душу на природе
Править,
Как на вечном оселке.

*

Не бойтесь гневных,
Бойтесь добреньких;
Не бойтесь скорбных,
Бойтесь скорбненьких.

Несчастненькие
Им под стать.
Всегда с глазами смутно-красными,
Чтоб никому не помогать,
Они прикинутся несчастными.

Заметив
Слезный блеск в зрачках,
Не доверяйте им
Ни чуточку...
Я, попадавший к ним на удочку,
Порвал все губы
На крючках.

*

Мой знакомый,
Захмелевши, тужит:
Говорит,
Что человек
Стал хуже.

Говорит,
Что против жизни прежней,
Той, еще не брошенной в разбег,
Человек стал
Несравненно грешней,
Стал порочней
Новый человек.

Морщась,
Заключает он устало:
— Страха божьего
В душе не стало.

Страх ему?!
Да пропади он прахом!
Средь людей,
Не знающих оков,
Праведность,
Внушаемая страхом,
Во сто крат
Позорнее грехов.

Так легко
Дойти до разделенья:

Бог — одним,
Другим — товарищ Ленин.

А ведь помню,
До большой удачи
В службе,
В дружбе
И в других делах,
До машины,
До богатой дачи
Был ему не нужен
Божий страх.

Видно, хочет он,
Чтоб божьи страхи
Выполняли роль
Цепной собаки.

*

Вот попробуй
И душу вырази,
Если ночью
И ночь не впрок,
У соседа
На строгой привязи
Плачем плачет
Малый щенок.

Отучают его
От радостей,
Приучают
В страхе ночей
К дикой злости,
К волчьей зубастости,
А щенок не поймет
Зачем.

Ты на злость
Его не натаскивай,
Ржавой цепью
Его не бей.
Я ведь зпаю щенка,
Оп ласковый,
Ищет дружбы
У всех людей.

Мой Варяг,
Это, брат, собачище,
Да и то не бывал

В цепях.
У меня собаки
В товарищах,
И щенки у меня
В друзьях.

Ночь холодная
Пасть раззявила.
Ты не плачь, щенок, —
Сам реву...
Я убью
Твоего хозяина,
Цепь железную
Разорву.

*

Я понимаю нетерпенье
От жизни
Ждущих
Бо́льших благ.
Что было жизнью поколенья,
То для эпохи
Только шаг.

Солдатам на войне,
Считавшим
Последним фронтом
Каждый фронт,
Перед рывком
К земле припавшим,
Казался близким горизонт.

Всё вынесли:
Борьбу,
Лишенья,
А мир, от всех утрат седой,
Он все еще несовершенен,
Он все еще кипит враждой.

Себя
Кому же неохота
Приходом счастья наградить!
Еще не кончена работа,
Еще душа полна заботы,
Но срок —
И надо уходить...

Живых
Живое нетерпенье
Так близко
И понятно так.
Что было жизнью поколенья,
То для эпохи
Только шаг.

И мы живем,
Уже забывши,
Трудами тех,
Кого уж нет.
Так от звезды,
Давно погибшей,
Еще идет к пам
Теплый свет.

*

Как в чаще,
В юности тревожной,
Не глядя слишком далеко,
О жизни думается сложно,
А совершается легко.

Зато теперь,
Как в старой роще,
Просторней стало и видней.
О жизни думается проще,
А совершается трудней.

*

Средь тех,
Кому мечтается,
В толпе
При свете резком
Все чаще мне встречаются
Глаза со звездным блеском.

С безуминкой
Они глядят,
Так,
Будто бы
На Марс летят.

Увидев их,
Я сторонюсь,
Мешать им неохота.
Похоже, что вернуть боюсь
Из дальнего полета.

*

Рожью
В клочьях тумана
Дремлет чуб мой, редея...
Не смущайся,
Что рано
Невозвратно седею.

В зное
Буйные всходы
Урожая не дарят.
Меня старят не годы —
Мысли горькие старят.

Если соков потребных
Стебельку не напиться,
Вместо зернышек хлебных
Черный куколь родится.

*

Я не испытывал давно
Такой тоски,
Такой тревоги,
Как будто жизни вижу дно;
Остатки вижу
Дней немногих.

В душе
Сплошная гололедь.
Тоску весеннюю почуяв,
Ни сочинять,
Ни пить,
Ни петь
И даже плакать
Не хочу я.

Что я?!
И звери по весне
Впадают в краткую унылость.
Былое умерло во мне,
А новое
Не народилось.

НЕДРУГАМ

Все вами сделано,
Чтоб я
Успел на этот мир обидеться,
Чтоб, не любя, сгубил себя
И не успел
С любимой свидеться.

Чтоб силой попусту иссяк,
Чтоб давний радовался враг,
С которым
Доброй силой мерился,
Чтоб я и в дружбе
И в друзьях,
Себе на горе,
Разуверился.

Чтоб я
Душою сник и свял
В игре словами пустозвонными,
Чтоб я
В час битвы не стоял
Под справедливыми
Знаменами.

Смешные!
Можно ли,
Чтоб я
Ушел от самого себя?!

КОНИ

В холмах башкирских,
На буром склоне,
С веселым ветром
Затеяв спор,
Играли кони,
Скакали кони,
Летели кони
Во весь опор.

Дымились ноздри,
Взметались гривы —
Гнедые,
Рыжие знамена̀...
Терялись птицы,
Взлетев пугливо
С дороги
Дикого табуна.

Земля степная
Была избита,
А кони
Резвы и горячи.
Стуча,
Отскакивали
Копыта,
Как
Гуттаперчевые
Мячи.

За нами стелется
След «Победы» —
Следу горячему
Не родня...
Недаром наши
Отцы и деды
Жизнь на̀ кон ставили
За коня.

*

Говорят,
Что красоты не стало.
И река, и берега в снегу.
Полыхают ветки краснотала
На крутом
На белом берегу.

Холодно.
Безоблачно.
Бесстрастно.
Приутихли даже ветерки.
Среди белых кружев
Так прекрасно
Незастывшее лицо реки.

Все как в сказке:
Сгубленная злыми,
Принявшими самый добрый вид,
Между берегами снеговыми
Мертвою царевною лежит.

Никого вокруг себя не вижу.
Только я,
Наполнив болью грудь,
Только я один сегодня вышел
Проводить ее в последний путь.

Только я один ее утрачу,
День запомнив этот и число,
Только я один стою и плачу,
Будто мне
Опять не повезло.

ОСЕННИЕ СТРОКИ

В глуши,
В тиши лесной,
Напомнив неудачу,
Ты плачешь надо мной,
А я еще не плачу.

Пророчишь мне беду,
Гнетешь тоской — неси, мол!
Ты равная в ряду,
Ты для меня не символ.

Тобой любуюсь я
И торжествую, зная:
Ты осень не моя,
Ты осень проходная.

Ты листьев намела,
Зажгла березок свечи.
Ты, осень, мне мила,
Как путевая встреча.

Как ту не позабыть,
Которую от скуки
Успел я полюбить
В последний час разлуки.

Любя ее черты,
Шепчу ей: «Дорогая,
Судьба моя — не ты...
Мне суждена другая».

*

То млею,
Теплом разогретый,
То стыну от холода весь.
Почти как у нашей планеты,
У сердца
Два полюса есть.

Но время идет.
Не согреться.
Уже — велики, велики! —
С холодного полюса сердца
Сползают на юг
Ледники.

Поверженный,
Льдами прижатый,
В снегу,
Что летит и летит,
Поэзии мамонт косматый
Последнюю песню
Трубит.

*

Всё слова, слова,
Всё речи, речи!..
От родимых наших вдалеке,
Я давно не выходил навстречу
И лицо не подставлял пурге.

Море жизни,
За вину ль какую
Я прибит к бумажным берегам?
Трижды замерзавший,
Я тоскую
По ветрам,
Тоскую по снегам.

Я тоскую по крутым морозам,
Я тоскую по гремучим грозам,
По тревоге:
Быть или не быть?
Я — такой.
Нужны мне испытанья,
Мне нужны тревоги и страданья.
Я без них
Не научился жить.

Всё слова
И всё речей водица
Вместо снега, леса и зари...
Городскому,
Мне все чаще снится
Белый снег,
И снятся снегири.

*

Когда мороз
И снег идет,
Земле тепла недостает,
Но странно мне иное:
В тот самый час,
Как бы назло,
Уходит от Земли тепло
В пространство мировое...

Земля
Среди других планет
Добра,
Как истинный поэт.

*

Какой-то странный человек
Придумал, меру перепутав,
Коротенькое слово — *век*
И очень длинное — *минута*.

Разоблачая смысл длиннот,
Везде найду я подтвержденье,
Что «малость»
Слов нагроможденьем
Себе значенье придает.

*

Я ночь люблю за то,
Что в тишине,
Когда другие спят,
В постелях нежась,
Все звуки дня,
Гудевшие во мне,
Приобретают чистоту
И свежесть.

Я ночь люблю
За темноту ее,
Когда ни звезд
И ни луны при этом;
Люблю ее за то,
Что в жажде света
Сильней горит
Сознание мое.

*

Слова — дрова.
Нас греет речь,
Нас мыслей обжигает пламя.
Душа пытливая, как печь,
Все время топится словами.

И сырость слов,
И сырость дров
Один и тот же грех имеют:
Трещат,
Дымят,
Но мало греют
И душу в непогодь,
И кров.

Слова
Бывают
Хороши,
Но дым от них
Такого рода,
Как будто у живой души
Забиты сажей дымоходы.

И потому я,
Как родня,
Двумя приветствую руками
Во имя доброго огня
Союз поэтов
С печниками.

МОЙ ЧИТАТЕЛЬ

Не богом кроен,
Не богиней шит,
Но и себе и прочим
Цену знает.
На вечерах
В восторге не визжит,
Перед начальством
Шапку не ломает.

Бывает часто,
Пышный переплет
В себе скрывает скуку
Мысли тощей...
Поэта книгу,
Ставшую потолще,
Он, мой читатель,
Часто не берет.

Нарядами
Его не проведешь.
Он рано помудрел,
Борясь и строя.
Веселый,
Дерзкий,
Как же он похож
На моего
Любимого героя.

Душою нежной,
Сердцем золотым,

Как в жизни,
И в моих стихотвореньях
Он не святой,
Поскольку стать святым
Ему и мне
Мешает нетерпенье.

Он в стих не лезет,
Как мальчишка в сад,
Чтоб вишнею неспелой
Насладиться,
А коль войдет,
Не вытолкнешь назад,
А коль войдет,
Заставит потрудиться.

А коль войдет,
Войдет не налегке,
Утяжелит
Лирическую тему.
Большой,
Он не поместится в строке,
Подай ему весь стих,
Подай поэму!

Пиши,
Волнуйся,
Мучайся,
Страдай,
Но молодому,
Поступаясь многим,
Не фифу,
А любимую подай.
Он жить в стихе
Не хочет одиноким.

Он к ней пробьется,
В помыслах высок,
А без любви
Смиришь его едва ли:
Перемахнет
Через заборы строк,
Барьеры рифм —
И поминай, как звали!

С читателем,
А он во всем таков,
Свою мечту
Отыскивая в буднях,
Задолго до поэм
И до стихов
Встречались мы
На трудных перепутьях.

В дни горя,
В дни бесславья своего
Лишь в нем ищу
Надежду и опору.
Любовью,
Дружбою
И даже ссорой
Я без уступки
Выстрадал его.

*

В лесах,
В кустах,
Густых и прочих,
Весь превращаясь
В бег и слух,
Под хриплый лай
И визги гончих
Зверь совершает
Жизни круг.

Охотник ждет,
И он дождется.
Охотник знает:
Есть закон,
Что зверь затравленный
Вернется
На место,
Где был поднят он.

Тогда рука взведет курки...
Но я печалюсь
Не об этом.
Я говорю, что и поэтам
Даны подобные круги.

Когда поэзия не шалость,
Усилий требует полет.
В какой-то час
Придет усталость:
Что ж, и железо устает!

Тогда, усталый,
Но не хилый,
Чтоб стать сильней
И боевей,
За прежней дерзостью
И силой
Спешит он к юности своей.

Темна,
Близка
Защита леса...
Дай бог ему
В тот крайний срок
Не встретить своего Дантеса,
Уже взводящего курок.

К СТИХАМ

Не радуясь
Высокому родству,
Смотрю я с болью
На поэмы эти.
Так смотрит мать,
Когда в семье растут
Большой любви
Глухонемые дети.

Не знаю,
Время ли тому виной,
Моя ли кровь,
Как знать,
Мое ли имя?
Вы научились
Говорить со мной,
Но, дети,
Надо ж говорить с другими.

Не избежать
Ни равнодушных глаз,
Ни строгих глаз,
Что видят все пороки.
Хорошие мои,
Быть может, вас
В чужой душе
Задержат на пороге.

Не обижайтесь,
Добрый мир широк,

Не бойтесь
Ни дождя,
Ни зимней стужи.
Возьмите от меня
Терпенья впрок,
К другим идите
И стучитесь в души.

*

Я атеист и поэт,
Я жалею, что бога нет.

Был бы мудрый,
Жил бы всевышний,
Меньше бы бед
Случилось со мной.
Этот всевышний
Был бы не лишний
Даже при наличии
Власти земной.

Я спросил бы:
«Великий боже,
Как стишки,
Скажи от души?»
И ответил бы боже,
Похлопав в ладоши,
И сказал бы боже:
«Пиши... Хороши!..»

Но, увы!
Уже сколько лет
Есть Щипачев,
А господа нет.

*

Сочиняем,
Пишем,
Строчим,
Заседаем.
Все — родня.
А в буфете, между прочим,
Смеляков, как строгий отчим,
Косо смотрит на меня.

От поэзии любимой
Отлученный за грехи,
На базарах со слепыми
Стану петь свои стихи.

Не в ладах с литературой,
Брать начну из добрых рук
Не деньгами, а натурой:
Сладкий блин
И горький лук.

Будут женщины к базарам
По дорогам грязь месить;
Обо мне, еще не старом,
Разговоры разносить.

Пропою самозабвенно,
Зарыдав и загнусив,
Про любовь и про измены
На моей родной Руси.

Пропою про урожаи
И про Вегу, как фантаст.
Глядь, какой-нибудь Державин
Заприметит
И воздаст.

И тогда,
Обретши слово,
Неподвластное суду,
С бородою Льва Толстого
К вам, товарищи,
Приду.

ГУСИ

В те дни,
Когда горят леса
Огнем нежарким увяданья,
Когда разбудит небеса
Гусей отлетных гоготанье,
Когда гортанный дикий звук
Внизу гусынь встревожит важных, —
Тогда
Стада
Гусей домашних,
Волнуясь,
Сходятся на луг.

Здесь, на лугу,
Как в смутном веке,
Они шумят,
Они галдят
И машут крыльями в разбеге,
Как будто тоже полетят.

Но сытым небо не дается...
И, пошумев какой-то срок,
Идут домой.
И раздается
Гусынь довольный гоготок.

СТРИЖИ

Иду я вдоль межи,
Вдоль ржи,
Густой и шаткой,
Привет,
Привет, стрижи,
Привет,
Привет, касатки!

Мне хорошо сейчас,
Как никому на свете.
Я счастлив, что у вас
Уже летают дети.

Я рад,
Что вдоль межи
Уже и рожь усата.
Привет,
Привет, стрижи,
Привет и вам,
Стрижата!

*

Беспокойно.
Дома не сидится.
Ухожу в окрестные леса.
Радуюсь деревьям,
Травам,
Птицам...
Чудеса!
Ей-богу, чудеса!

Песни птичьи
Заманили в дебри,
К вековому дубу привели.
Что ты знаешь
О таком шедевре
Истинной художницы —
Земли?

Может быть,
Под золотою грудой
Этих листьев
С мезозойских лет
Затаилось
И таится чудо,
Так и не рожденное на свет.

*

Люблю я деревья.
Достоинств не счесть.
Но в главном
Они мне потрафили —
Тем, что у каждого дерева есть
Судьба
И своя биография.

Им так же,
Как людям,
При встрече со злом
Слезами тягучими плачется,
И каждая грубость,
И каждый излом
Под сердцем у них обозначится.

И так же,
Как мудрые люди,
Точь-в-точь,
В душе вековой и древесной
Они сберегают не темную ночь,
А зори,
Их отсвет небесный.

Люблю я деревья.
Тесинку строгать
Легко мне,
Как умную книгу читать.

ВЛАДИМИРКА

Листва берез...
Черемух кружево...
Ветлы свисающая шаль...
Как хорошо глядеть из кузова
На убегающую даль.

Как в раме,
Мчимся ль по булыжнику,
Плывем ли в хлябях колеи, —
Показывают передвижники
Пейзажи русские свои.

Мотор
Мурлычет колыбельную,
Мотору вторит ветерок.
А вот и роща корабельная,
Вот левитановский мосток.

Вот поворот...
Вот сразу, сразу вам
Знакомый видится ручей.
Вот колоколенка Саврасова
С березкой,
Только без грачей.

Вот новый вид.
И лес,
И вырубка,
И новый цвет,
И новый тон...

Вот начинается Владимирка,
Уже одетая в бетон.

И сразу
Скорость прибавляется:
Летим, летим!
Вперед, вперед!
И на пейзажах появляется
Энергетический налет.

И в нем
Среди всего отменного
Все тот же мир цветов родных.
И ни Ван-Гога,
Ни Гогена вам.
Ни-ни!
И никаких иных.

Нет,
Мне мила березок грация,
Под ветром
Ее буйный пляс.
Я родину люблю.
И Франция
Простит меня на этот раз.

ЕЩЕ О ЗОЛУШКЕ

Поэту, сравнившему себя с Золушкой

Когда неряха моет пол
Истории наследия,
Уже захлюстав свой подол,
Страшно ее усердие.

За чистоту его борясь,
Казалось бы, неистово,
Она лишь переносит грязь
На половицы чистые.

Сегодня бал —
Скорей, скорей!
Бездумная головушка,
Так захотелось в сказку ей,
Что притворилась Золушкой.

Сегодня бал,
И, что скрывать,
На бал успела модница,
А пол за нею домывать
Придется домработнице.

Сегодня бал.
На ножках лак.
Там — юный принц, заметь ее! —
Забудет Золушка башмак
Размера сорок третьего.

По мне,
Пусть ходит на балы,

И потому тем более
Не доверяйте ей полы
В следах и крови и золы,
Оставленных Историей.

НЕЧТО О СОБАКЕ

Мой Джек,
Тебя я не учу,
И ты не будешь
Прирученным.
Мой милый Джек,
Я не хочу,
Чтоб слыл ты
Псом псевдоученым.

В Москву не рвись,
Живи, брат, тут,
Главенствуй
В деревенской драке.
Мой честный Джек,
В Москве живут
Высокомерные собаки.

А у иных
Забитый вид.
Там даже маленькая моська,
Выслуживаясь, норовит
Нести хозяину
Авоську.

Там руки лижут,
Не любя,
Там, и любя,
Тебя замучат.
С постельной сучкою тебя
Консолидации научат.

Научат
На тахте лежать
И, приобщив к манере тонкой,
Тебя научат подражать
Неврастенической
Болонке.

Ах, Джек мой,
При твоем уме,
При стати
Ты уже с изъянцем.
Не мною,
А в чужой семье
Ты назван Джеком
Иностранцем.

Я рад.
Что сложная судьба
Тебя не трогает
Ни крошки.
Уже у пятого столба
На это все
Ты поднял ножку.

*

Мой друг,
Вгоняй в строку
Что отошло,
Что стало.
Мы на своем веку
Повидели немало.

Минула
Бед гора,
Минули муки встреч.
Пора, мой друг, пора
Других предостеречь.

ДРУЖБА

Закон у дружбы
Был всегда суров,
Ни жалости не зная,
Ни боязни,
За фальшь и скуку
Стихотворных строк
Мы предаем друг друга
Страшной казнп.

Солгавшего
Легко предостеречь
От злой беды,
Еще, быть может, дальней.
Мы -- как мечи,
А создается меч
Меж молотом,
Огнем
И наковальней.

Все в дружбе есть:
Огонь, чтоб согревать,
И молот есть,
Взлетающий упруго,
И наковальня,
Чтобы поддержать
При дружеском ударе
Сердце друга.

Так будем же
Крепить себя в огне,

От дружеских ударов
Закаляться,
А в смертный час
Спиной к спине
Мы станем, друг,
И будем драться.

РУКИ ШОПЕНА

Чуткие руки,
Бывало, взлетят,
Вскинутся с легкостью птичьей —
Мнится, два кречета рядом парят
Над присмиревшей добычей.

Миг —
И на клавиши,
Точно на луг,
Мчится за кречетом кречет...
Миг —
И стремительно пойманный звук
Плачет в тоске
И трепещет...

Так ему жить
И терзаться в веках.
Это в мучениях плена
Сетует горько
В его же руках
Скорбное сердце Шопена.

*

Где-то ходим,
Чем-то сердце студим,
Ищем сказку не в своей судьбе.
Лет с двенадцати пошел по людям
И в конце концов
Пришел к себе.

И всего на свете интересней
Стало то,
Что было от сохи...
Здравствуйте, покинутые песни!
Здравствуйте, забытые стихи!

*

В небесах
Монотонные песни разлук...
От пустынных полей,
От холодной земли
Улетают на юг,
Улетают на юг,
Улетают на юг журавли.

Если сердце устанет
Стучать для людей,
Если страсти во мне откипят,
Призову лебедей,
Попрошу лебедей —
Пусть мне осень мою
Протрубят.

КНИГА ЛЮБВИ
(1961—1963)

*

Вот пишу,
И грустно мне,
Потому как вызнано:
Про любовь в моей стране
Многое написано.

Про любовь-разлуку есть,
Про любовь-свидание.
И читать не перечесть
Строчек назидания,

С кем ходить
И где гулять.
Есть такие броские,
Что легко по ним справлять
Свадьбы комсомольские.

Станут с ними
Чуть пьяней,
Веселей закружатся.
А мои всего нужней
В горький час супружества.

Пусть коснется
Прядки прядь
Над моим пророчеством.
Мое горе повторять
Людям не захочется.

КОРШУН

Однажды
Обманул я коршуна,
На редкость резко просвистав,
И коршун закружил встревоженно,
Косые крылья распластав.

Сбивая с толку птицу дикую,
Еще призывнее, как мог,
Стонал и плакал коршунихою
Нехитрый травяной манок.

С ответным криком,
Полным страстности,
В бесплодных поисках ее,
В любви
Забывший об опасности,
Он падал на мое ружье.

Оно
Навстречу было взброшено...
И все ж я птицу не убил.
Любовь священна.
Даже коршуна
Не трону
В час его любви.

БЕРЕЗОВЫЙ РАЙ

С каждым годом
Сны мои капризней.
Снилось мне,
Что для твоих услад
И твоей любви
Ценою жизни
Небывалый
Вырастил я сад.

В том
Моем саду,
Как ты хотела,
Как хотел и я,
Берясь за труд,
Понимаешь,
На березах белых
Золотые
Яблоки растут.

Сколько чистоты
И сколько света
Пролилось
На голову мою!
Ничего не знал...
Но знал, что это
Был мой рай.
И ты — в моем раю.

Загрустила,
Будто и некстати.

Весь в плодах
Небесного литья,
Сад березный
Вырос на закате
Нашего с тобою
Жития.

И тогда —
В дымках,
В накрапах росных —
Я сорвал,
Чтоб не грустила ты,
Со своих березок
Плодоносных
Тяжкие
И жесткие плоды.

Первым надкусил,
Напропалую —
И живой огонь
Коснулся рта...
И по телу,
Как от поцелуя,
Потекла
Густая теплота.

Охватило
Сладкое отчаянье,
Боль восторга.
По глазам твоим,
Широко открытым,
Как прощанье,
Увидал себя я
Молодым.

Сон ушел.
Я стал мудрей и старше.
В лес хожу
Под белое древье.
Где-то в листьях,
Только что опавших,
Затерялось
Яблочко твое.

*

Всё речи да речи...
Молчи, фарисей!..
Никто не поверит,
Имея понятье,
Что дети родятся
От жарких речей,
От жарких речей,
А не жарких объятий.

Душа да душа!..
Замолчи ты, ханжа!
Мы тоже святые,
Но разве же худо,
Что к женам нас манит
Не только душа,
А женского тела
Горячее чудо.

Ты книжный,
Ты скучный.
Должно, не любя,
Тебя зачинали,
Когда заскучалось...
Все люди как люди,
И, кроме тебя,
Ошибок в природе
Еще не случалось.

ВОСТОЧНЫЙ МОТИВ

Я скажу: «Милая...»
Я скажу: «Милая!..»
Я скажу: «Милая!!»

Раз скажу «милая» —
Губы раскроются,
Два скажу «милая» —
Сердце раскроется,
Три скажу «милая» —
Душа распахнется.

Милая — сильное слово,
Милая — очень сильное слово,
Но слово «люблю» — сильней.

Шепну ей: «Люблю...» —
Сердце заколотится.
Скажу ей: «Люблю!..» —
Голова закружится.
Спою ей: «Люблю!!» —
Слезы выступят.

«Земля» — доброе слово,
Но оно для любви.
«Весна» — теплое слово,
Но оно для любви.
«Звезда» — дивное слово...
И оно для любви.
Все для любви:
И земля,

И весна,
И звезды.

Весь год
Трудилась вселенная,
Весь год хороводила,
Чтобы пришло
Великое противостояние
Наших сердец.

*

По главной сути
Жизнь проста:
Ее уста...
Его уста...

Она проста
По доброй сути,
Пусть только грудь
Прильнет ко груди.

Весь смысл ее
И мудр и прост,
Как стебелька
Весенний рост.

А кровь солдат?
А боль солдатки?
А стронций
В куще облаков?

То всё ошибки,
Всё накладки
И заблуждения
Веков.

А жизни суть,
Она проста:
Ее уста...
Его уста...

*

Любовь мне —
Как блистание
Звезды над миром зла.
Любовь мне —
Как призвание
На добрые дела.

Чтобы мир
Отмылся дочиста,
Душа тревогу бьет.
Любовь мне —
Как пророчество,
Зовущее вперед.

Любовь —
Как жажда истины,
Как право есть и пить.
Я, может быть,
Единственный,
Умеющий любить.

*

Влюбленных шумно
Легок воз,
Зато любовь влюбленных тихо —
Как горе горькое без слез,
Как боль, болящая без крика.

Таюсь.
Молчу.
Боюсь наскучить.
Иным признанье — трын-трава.
Меня же долго будут мучить
В груди застрявшие слова.

Иной споет
И отпоется,
А у меня гудит душа,
И сердце тяжелее бьется,
Готовое для мятежа.

*

Я не знаю сам,
Что делаю...
Красота твоя, —
Спроси ее.
Ослепили
Груди белые,
До безумия красивые.

Ослепили
Белой жаждою.
Друг от друга
С необидою
Отвернулись,
Будто каждая
Красоте другой
Завидует.

Я не знаю сам,
Что делаю...
И быть может,
Не по праву я
То целую эту, левую,
То целую эту, правую...

*

О женщина,
Краса земная,
Родня по линии прямой
Той, первой,
Изгнанной из рая,
Ты носишь рай
В себе самой.

Я говорю
Библейским стилем
И возглашаю горячо:
Не Петр-ключарь,
А я, Василий,
Заветным
Наделен ключом.

Мы любим
По земным законам,
И соблазняешь ты меня
Не яблочком одним,
Зеленым,
А сразу спелыми
Двумя.

О женщина,
Душа томится,
И жажда мучит
Все сильней.

Пить!..
Пить!..
Мне пить
И не напиться
Бедовой радости твоей.

*

Мы не подумали о том,
Хоть и нетрудно догадаться,
Что если поджигают дом,
То страшно
В доме оставаться.

Игра любви,
Игра до слез.
Довольно бы,
Но поздно...
Поздно...
И начинается всерьез,
Что начиналось
Несерьезно.

И сердится по доброте,
И упрекает:
«Грубый!.. Грубый!..»
А губы ищут в темноте
Уже заждавшиеся губы...

И запоздалое «уйди»,
Но молодость,
Но звезды с нами...
И я прижал ее к груди,
Как потухающее пламя.

*

Как второе пришествие,
Как сто крыльев на взлете,
О веселое сумасшествие
Торжествующей плоти!..

Нежность
До первозданного
Побледнения лика,
До глухого, гортанного
Лебединого клика.

И восторг
До отчаянья,
До высокого очень,
До немого молчания,
До безмолвия ночи.

Лебедь
Крылья разбросила,
Замедляя движенье...
Как на заводи озера,
Ты — мое отраженье.

*

Как наяву точь-в-точь,
Шальное сердце билось.
Подряд из ночи в ночь
Ты, грешная, мне снилась.

Шептала: «Помолчи!..
Не предавай огласке...»
И были горячи
Неистовые ласки.

Но взял я не свое.
Под ласками моими
Чужое, не мое
Ты повторяла имя.

Я скованный лежал,
Стыдясь тебя коснуться,
Как будто крепко спал
И не хотел проснуться.

*

Измаянная тишиной,
Мысль за тобою гонится.
За радость ночи
Той,
Одной,
Плачу
Сплошной бессонницей.

За страсть,
Сжигавшую дотла,
Я б согласился с карою,
Что узаконена была
Царицею Тамарою.

Счастливец
Много ли терял,
Когда от стона светлого
С ее груди
Летел в Дарьял,
Уже ко стону
Смертному.

И знал он,
Брошенный на дно,
Что после расставания
Его убили б все равно
Потом
Воспоминания.

Не длил бы я
Постылых дней,
Когда бы не иллюзия,
Что ты нежней,
Что ты умней,
Добрей царицы Грузии.

ОСТАВЬТЕ МНЕ ТАЙНУ..

Какое же диво
В твоих, Руставели, словах:
Века отшумели,
А слово
Все в тех же правах.

Века отзвучали,
А слову
И жить и звучать.
Кем был ты,
Как жил ты, —
Не знаю.
А надо ли знать?

Над миром тревожным
Ты крылья любви
Распластал.
Ты Индию левым,
Аравию правым достал.

У нас и поныне
Сердца и горят и болят,
У нас и поныне
Над сердцем
Царицы царят.

У нас и поныне
Усладу другие берут,
У нас и поныне
Кровавые слезы текут.

Прости мне, Шота,
Что, влюбленный,
В порыве страстей
Любимую славил
Превыше царицы твоей.

Прости мне, Шота,
Что забылся
В своей похвальбе,
А помнил лишь право
Любовью быть равным тебе.

Не знаю,
Кем был ты,
Как жил,
Но, читая твой стих,
Тебя создаю я
По страсти героев твоих.

Как бог триединый,
Во всех ты героях един:
В любви Автандила
И в нежных очах Тинатин.

Ты в каждой слезинке,
В кровинке
Отверстых их ран,
В тоске Тариэла
И в муках Нестан-Дареджан.

А что мне с того,
Что в чужом
Палестинском краю
Однажды найдут
Долговую расписку твою?

Унижен ли был ты,
Оболган ли был ты за труд?
Да мало ли лгали...
И многих еще оболгут!

Ах, что мне догадки!
В твой век, Руставели,
И в наш
Доподлинна песня,
А все остальное —
Мираж!

Во имя той песни,
Что пели мы все
И не спели,
Оставьте мне тайну
Великой судьбы
Руставели!

*

Куда я — такой,
Кому я — такой,
От горькой любви
Потерявший покой?

И взгляд мой безумен,
И вид мой ужасен.
Спокойным и тихим
Я просто опасен.
Опасен я тем,
Что мечтой увлекаю,
Что страстью своей
На любовь обрекаю,
Что делом и словом
Творю поневоле
В любви не согласных
На малую долю.

Куда я — такой?
Кому я — такой?

*

В горячке
Выпил все отравы,
До самой горькой и хмельной.
Капризы и любви и славы
Уже не властны надо мной.

Еще душа не долюбила,
Еще до радостей горазд,
Но радостней того, что было,
Мне, знаю, жизнь уже не даст.

Случится, память потревожу —
Тогда, повторов не терпя,
Начну бояться быть похожим
В любви на прежнего себя.

И радость встреч,
И провожанье
Под невысокое окно
Вдруг огорчит,
Как подражанье
Чему-то бывшему давно.

А слава?
Кто-то стал спесивей,
Кого-то в ней не узнаем.
Она была куда красивей
В воображении моем.

Я представлял себе, как знойно
Горит над чубом славы круг.
Она была моих достойна
Воображаемых заслуг.

Иному без нее тревожно,
А мне с давно пережитой
Спокойно,
Ибо все ничтожно
В сравнении
Со славой той.

Над глупым сердцем
Есть управа,
Над суетностью
Страж двойной.
Капризы и любви и славы
Уже не властны
Надо мной.

*

Была любовь.
Была сомнений смута.
Надежды были.
Молодость была,
Да, молодость была,
Но почему-то
Она большого счастья
Не дала.

Она ушла,
Но слезы не прольются.
Ушла.
Иди.
И не зови трубя.
Нет, не хочу я
В молодость вернуться,
Вернуться к дням,
Где не было тебя.

*

Все вижу.
Твой немой укор...
Ты смотришь,
Будто ждешь ответа:
Где живость,
Где горящий взор,
Где озарение поэта?

Глаза тусклы,
Почти что злы,
Как у пропойцы до загула.
О, ужас!
На плебейских скулах
Застыли желваков узлы.

Ты думала:
Неотразимый.
Ни в чем не знавшая потерь,
Ты думала,
Что я красивый...
Не отворачивайся.
Верь.

Красивы мы,
Светлей, чем зимы,
Иконописнее, чем Спас.
В том и беда,
Что мы красивы,
Когда никто
Не видит нас.

И кровь кипит,
Душа парит.
В ней, чуткой,
Все находит отклик.
Как у идущего на подвиг
Лицо отвагою горит.

Но вот погасло вдохновенье,
И, к людям открывая дверь,
Мы вновь темны,
Мы снова тени
Самих себя...
Как я теперь.

ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ

Не верили,
Отмахивались:
Миф!
Но по дворцам,
По стенам, взятым с бою,
Давно доказано,
Что был правдив
Старик Гомер,
Воспевший гибель Трои.

Над нею, павшей,
Вечность протекла,
Землей укрыла
Рухнувшие стены.
Виновных нет.
И все-таки была
Всему виной
Прекрасная Елена.

Неоспоримы
Слезы, муки, беды,
Неоспорим
И бога Зевса пыл,
Когда торжественно
В купальню Леды
Он, женолюбец,
Лебедем приплыл.

И родилась
Елена всеблагая,

Затмившая
Эгейскую зарю,
Доставшаяся в жены
Менелаю,
Суровому
Спартанскому царю.

Где красота,
Там правота каприза,
А где любовь,
Там бой идет не зря.
Неоспорима
Молодость Париса,
Отнявшего Елену у царя.

Неоспоримо
Менелая сердце,
Стучавшее тараном у ворот.
Неоспоримо
Мужество ахейцев,
Поклявшихся
Не постригать бород.

А годы мимо...
Годы мимо, мимо...
В крушении
Приамовых дворцов
Неоспоримо все,
Но оспорима
Житейская
Забывчивость бойцов.

Пал Мепелай
В печали и тоске.
Изъела корабли
Морская пена.

Состарилась
Прекрасная Елена.
Скорбела Пенелопа
Вдалеке.

За девять лет,
Приученные драться,
Копьем и дротиком
Вести бои,
Уже ахейцы
Стали оступаться
О клятвенные бороды свои.

В крови,
В скорбях,
В осадной суете
Они, вослед
Приплывшие под Трою
За мною,
За дивной красотою,
Успели позабыть
О красоте.

...И мы в бою,
И мы твердыни рушим.
Но, увлекаясь
Праведной борьбой,
Лишь одного хочу,
Чтоб наши души
Не отросли
Ахейской бородой.

*

Угар любви
Мне мил и близок,
Но как смешон
Тот сердцеед,
Что составляет
Длинный список
Своих «любвей»,
Своих побед.

Марина,
Нина,
Саша,
Маша.
Меж тем
При встречах,
Как у птиц,
Была с ним
Все одна и та же,
Размноженная
На сто лиц.

Мне радость
Выпала иная,
Мне жребий
Выдался иной:
Меняясь,
Но не изменяя,
Сто женщин
Видел я в одной.

*

Пришла
И чуткою
И нежною
Ошеломить
И потрясти.
Пришла ко мне,
Чтоб душу грешную
От самого себя
Спасти.

А у моей души
Есть правило,
И я воздать
Не прочь ему:
Коль ничего в ней
Не оставила,
То и стучаться
Ни к чему.

С изменами,
С любовью,
С чарами
Душа моя, —
Что к ней влечет?! —
Как лавка
С хрупкими товарами,
Закрыта
На переучет.

*

Не пора ли,
Не пора ли
Нам игрушки собирать.
Мы все игры доиграли,
Больше не во что играть.

И в любви
Не портить крови,
Ибо знаю наперед,
Что количество любовей
В качество не перейдет.

*

Не о такой,
Как ты,
Мечтается,
Не о такой грущу,
Которая
Красивых книжек начитается,
Придет и мучит разговорами.

Еще заставит,
Межеумица,
И подражательностью маяться:
Мол, тот герой не так целуется,
Не так в романе обнимается.

И лишь одно мне утешительно,
Что, споря с книжными страницами,
В любви
Я отвергал решительно
Литературные традиции.

*

Он был ворчун —
Не больше, чем любой.
Она ж его
За это укоряла,
Она ему
Частенько повторяла:
— Что будет
В старости с тобой!

Шли годы...
Он ворчал,
Она ворчала.
Он ей упрек,
Опа его в штыки:
— Что будет в старости!.. —
И замолчала.
Они давно уж
Были старики.

ЦЫГАНКА

Я верю цыганке.
Мне счастье она нагадала.
По жесткой ладони
Всю прошлую жизнь рассказала.
Она мне сказала
По линиям четким и ясным:
— Всю жизнь был любим
И всю жизнь был несчастным.

Она мне сказала
С лукавым цыганским азартом:
— Во многих же семьях
Красавицам спутал ты карты.
Скажу имена их,
Да только не надо скупиться.
— Скажи-ка, а впрочем,
Зачем же...
Напрасно трудиться!

Я верю цыганкам.
Они — как поэты-провидцы,
Всю жизнь они смотрят
На разные встречные лица,
Всю жизнь они бродят,
Всю жизнь они новых встречают.
И радость и горе —
Всё, всё они в нас замечают.

И сам я бродяга
И многое, многое знаю.

Сказал я цыганке:
— Давай
Я тебе погадаю!

*

Ну полно...
Полно...
Мне тоскливо!..
Угомонись,
Раздор не сей.
Зачем же так несправедливо
Ругаешь ты моих друзей?

Ты злишься,
Что они приходят
Смущать нездешней красотой,
Что в поздний час меня уводят
Бродить под звездной высотой.

Не знаю,
Чем ты оскорбилась,
Когда сказала, их браня:
— Они тебе, скажи на милость,
Дороже хлеба и меня!

Ну полно же,
На них не сетуй.
Вершители людских судеб,
Мои друзья — они поэты,
Необходимые, как хлеб...

И все ж
Их не сравню с тобою.
Без хлеба все-таки живут.
Ты — воздух мой,
А без него я
Не проживу и трех минут.

ЛЮБКА-ЛЮБОЧКА

Утром — Любкой,
Ночью — Любочкой...
Отряхнув с души золу,
С виноватою улыбочкой
Проходила по селу.

Шла неспешно,
Будто с ведрами,
Выводя за шагом шаг,
И покачивала бедрами
По привычке,
Просто так.

Обзывали Любку шлюхою.
Злые женщины порой.
Начинали слово буквою
Из алфавита второй.

Мужики с недоброй шуточкой
Свой дневной вершили суд.
Шла и знала:
Ночью Любочкой,
Утром Любкой назовут...

Шла отпетая, небрежная,
Под лузгу недобрых ляс,
Всю себя, нахально грешную,
Выставляла
Напоказ.

Отметая ночи ложные,
На меже вблизи села,
На другие непохожая
Ночь у Любочки была.

В играх звездного свечения,
С перепевом петухов
Ночь любви и очищения
Ото всех былых грехов.

Ночь, не сделавшая просева,
Ночь, не вспомнившая зла.
Ничего с души не сбросила,
Все с собою понесла.

Тихо, полная смирения,
Понесла в рассветный дым
Новое сердцебиение
Рядом,
Рядом со своим.

Сын приспел.
Нужны и метрики.
Вот, припав теплом к теплу,
С белым ситцевым конвертиком
Мать ступала по селу.

Мать ступала.
В знак прощения
Приподняли старики
Троеперстно, как крещение,
Лаковые козырьки.

Мать ступала.
И глумливые
Смолкли бабы у дверей,

Даже самые ревнивые
Стали к Любочке добрей.

Эти добрые и дружные
В мальчике
Из доброты
Все простили б,
Даже мужние,
Даже мужние черты...

Шла,
Впервые некоримая,
И несла, забывши все,
На судах неоспоримое
Оправдание свое.

*

Все открыто,
Все наружу,
Но уже шепчу, скорбя:
Закрывай, Василий, душу,
Не выстуживай себя.

Стали глубже норы лисьи,
Стал пышнее ворс лисят...
Листья...
Листья...
Листья...
Листья
Золотой пургой летят...

Кружат...
Кружат...
Кружат...
Кружат
В слезной скуке ноября.
Закрывай, Василий, душу,
Не выстуживай себя.

*

Голова моя,
Головушка,
Недомога и разлад.
Будто вызревшее полюшко
Поприбил мне кудри град.

Помню,
Любовались озимью,
Отмечали рост и стать.
Значит, беден,
Значит, осенью
Пышной свадьбы
Не играть.

Думал,
Жизнь переиначится,
Зашумит рекой в разлив.
И тоскуется
И плачется
На есенинский мотив.

НАДПИСЬ НА КАМНЕ

Мне тяжело.
Люди со мной
Становятся честными.
Они разговаривают,
Как на исповеди,
Особенно женщины,
Которых мог бы любить.

Мне всех тяжелей.
Я похож на бога,
Но пе настолько великого,
Чтобы прощать.

*

Думал, прошлое не забудется,
Думал, близкою станет мне.
Задержала меня распутница
На чужой,
Не той стороне.

К сердцу боль
Присосалась пиявкою,
И оно мне стучит: беги!
Топь болотная,
Громко чавкая,
Крепко держит за сапоги.

Закричал бы я, утопающий:
Мне, товарищи, нелегко.
Но нельзя мне позвать товарищей —
Все товарищи далеко.

Все товарищи
Неподдельные,
Охраняя покой семьи,
Как, бывало, князья удельные,
Правят женами
И детьми.

И прошу я
Не их, а вербочку,
Задрожавшую у ноги:
— Помоги мне, тонкая веточка,
Помоги!..

*

Плачь.
Пусть слеза прольется,
А ты себе живи.
Тебе легко живется
И в жизни
И в любви.

Страдай.
Твое страданье,
Увы, невелико.
Рыдай.
Твое рыданье,
Как у детей,
Легко.

Но все твои печали,
Как воды по весне,
Подземными ручьями
Изроют душу мне.

*

Ты говоришь:
Я мщением дышу.
Ты говоришь:
Я мертвых ворошу.
Ты говоришь:
Мне ничего не жалко.

Неправда!
Жалко.
Но моя душа
Неумолима,
Как землечерпалка
С железным скрипом
Грузного ковша.

Она других
Не знает направлений;
Она пройдет,
В желаниях чиста,
И по следам
Твоих захоронений,
Где даже не поставлено
Креста.

Рабочей быть
Дано душе не каждой.
Я благодарен
Даже в час беды,
Что наделен
Неистребимой жаждой

Докапываться
До живой воды.

А ты твердишь:
Я мщением дышу!
А ты коришь:
Я мертвых ворошу!

*

Пусть
Мы друг друга
Разлюбили.
Но жизнь мою,
Любовь мою
Не торопись
Толкать к могиле, —
Итак качаюсь
На краю.

Я, в счастье
Веривший глубоко,
Себя от счастья
Отрешил.
Уйду из жизни
Без упрека,
Довольный тем уже,
Что жил.

Довольный тем,
Что полной мерой
Мне было радости дано.
А без любви мне,
Как без веры,
И безысходно
И темно.

Все унесу,
Твой добрый гений,
Твой легковерный

И смешной.
Всю горечь
Многих заблуждений
Ты можешь схоронить
Со мной.

Пусть экскаватор
Полной горстью,
Однажды вороша погост,
Мои изломанные кости
Швырнет
На глинистый откос.

И пусть!
Пусть будет все,
Что будет.
Приму любую из поруx,
Чтоб стали радостнее
Будни,
Хотя бы
Одному из двух.

*

В наше счастье
Веры больше нету.
Мне обидно,
Что в чужом краю
Принял я за чистую монету
Легкую привязанность твою.

И не то мне жаль,
Что, пламенея,
Я тебя и нежил и ласкал.
Жаль мне то,
Что, от тебя пьянея,
Я своей любимой
Не искал.

Поглядеть бы
На любовь-потерю,
Тронуть кудри
Ласковой рукой...
В мире есть такая.
Я не верю,
Чтобы в мире
Не было такой.

Может, поздно?
В муках угрызений
Сердце бьется
В поисках порук.
В мире было столько
Потрясений,
Столько было горестей...
А вдруг?..

Может быть,
В надежде тосковала,
Все ждала
И уставала ждать?..
Может, ей меня
Недоставало,
Чтобы жить
И в жизни устоять?..

Есть такая!
Каторжной работой
Сто каналов
К ней готов прорыть.
Если сердце
Бьется для кого-то,
Значит, этот кто-то
Должен быть.

*

Я ушел.
Ни к чему теперь
Вздохи.
Между нами
Со всей высотой
Стены,
Стили,
Этапы,
Эпохи,
Просто камень
И воздух седой.

Я ушел.
Между нами — века.
Вот как ты далека!

*

Чему сердце молилось,
Отошло навсегда.
Надо мною звезда закатилась,
Закатилась звезда.

И горела нежарко,
Не давала тепла,
И светила неярко,
Но все же была.

Я стоял под звездою,
Дожидался зари.
А теперь только место пустое,
Смотри не смотри...

*

Жизнь поэта
Непростая штука,
Если он страстями опален,
Жизнь поэта,
Да не жизнь, а мука,
Если он влюблен, —
А он влюблен.

Пошутил
Веселой эпиграммой,
Подмигнул звезде —
И мир разъят.
Вот уже ему
Семейной драмой,
Мировой трагедией
Грозят.

Милая моя,
Мы счастьем бредим
Большим,
Чем встречаем наяву.
В наших душах
Тысячи трагедий...
И еще одну
Переживу.

ОРАКУЛ

По холодному блеску
Стальной колеи
Поезда убегают —
И все не мои.

Поезда убегают
В зарю и рассвет,
Только должен опять
Оставаться я,
Будто мною потерян
Транзитный билет
И забыта конечная станция.

Поезда убегают,
Гремя и звеня,
Прогибаются рельсы со шпалами.
Убегая вперед, оставляют меня
На вокзале
С глазами усталыми.

Как мне быть?
Как мне жить?
И в какие края
Выбрать путь одинокому:
Близкий иль дальний?
Будка.
В ней на вопросы
Заблудших, как я,
Отвечает оракул вокзальный.

Пересадки,
Маршруты известны ему.
Расспросите его
И похаживайте.
А замешкал —
Звучит по вокзалу всему:
«Спрашивайте!..
Спрашивайте!..»

Жизнь — в любви,
Как ни много нам в жизни дано,
Я, бывало, терял и не плакал,
А когда вот потеряно это — одно,
Как тут быть,
Подскажи мне, оракул?

Репродуктор в стене.
Слышу голос стены,
И от голоса холодом веет:
«Гражданин, не мешайте,
Вы слишком пьяны!» —
«Нет, от горя душа не пьянеет!»

Поняла,
Женским вздохом
Вздохнула стена
И сказала мне фразу такую:
«В чем другом бы, а в этом, —
Сказала она, —
Не просите,
Помочь не могу я...»

В двадцать лет,
Зная только начала начал,
Не по возрасту я,
Не по росту

Почитал себя мудрым,
Других поучал,
Все решал
Удивительно просто.

Разлюбила?
Другая полюбит, поверь,
Будешь счастлив
И радостен снова.
Жизнь одна,
Путь один.
И я понял теперь:
Нет для счастья
Пути запасного.

По холодному блеску
Стальной колеи
Поезда убегают —
И все не мои.

Поезда убегают
В рассветную мглу,
На широкие нивы и пажити,
И оракул
Шумит по вокзалу всему:
«Спрашивайте!
Спрашивайте!..»

*

Сдержаться в чувствах
Не умеючи,
С тобою часто ссорюсь я.
Какие-то пустые мелочи
Мешают видеть мне тебя.

В дороге
Мелкое теряется,
В дороге с каждою верстой
Все больше,
Больше проясняется
Тот, настоящий,
Образ твой.

Опять люблю,
Тревог не ведая,
И только в мыслях не решу:
Что это?!
От тебя же еду я,
А кажется,
К тебе спешу.

*

Мне казалось,
Что ты молода,
Что тебя
Не коснулись года.

Помнишь,
Был я не хилой породы,
Но обветрил,
И, видишь, — седой.
Ты лишь в памяти
Все эти годы
Оставалась
Еще молодой.

Да, лишь память
В заветном извиве,
Как солдат
На бессменном посту,
С каждым годом
Нежней и ревнивей
Охраняла
Твою красоту.

Запоздалая встреча убила,
И надежде
И вере назло,
То, что память моя
Сохранила,
То, что сердце мое
Сберегло.

*

Холмы,
Расшитые узорами,
Не привлекали нас к житью.
Над Хонгурейскими озерами
Гагара плакала — к дождю.

И все окрест,
Все дали дальние
До еле видимой версты,
Как ненца древние предания,
Туманны были
И пестры.

Я шел
И вдруг остановился,
Во власти неизбывных дум.
Вдали стоял твой белый чум,
Над чумом сизый дым курился.

У чума твой стоял олень.
Глядел я,
Как, сметая тени,
По золотым рогам оленя
Восходит
Заполярный день.

Хотелось мне,
Шагая тундрой,
Чтоб в жизни, где бы ни жила,
Но на любой дороге трудной
Ты
Впереди меня ждала.

*

Припомню что-то —
И душа не рада.
Для памяти своей
Хотел бы снегопада.

Заснул бы я,
Проснулся бы — и вдруг
Почувствовал бы я,
Что жизнь легка мне,
Что лоно памяти,
Как зимний луг,
Занесено сыпучими снегами.

Не видно ни тропинок,
Ни дорог,
Ни прежних встреч,
Ни прежних расставаний.
Из прошлого
Припомнить бы не смог
Ни радости,
Ни грусти,
Ни страданий.

И та,
Что принесла немало бед,
Сокрывшаяся где-то
В царстве снежном,
Уж не решилась бы
Оставить след
На том снегу,

Спокойном и безгрешном.
И, благодарный
Сказочному сну,
Я б заскучал,
Я стал бы ждать весну.

Заснул бы я,
Проснулся бы — и вдруг
Увидел бы за днями,
За годами,
Что лоно памяти,
Как вешний луг,
Все зацвело
Веселыми цветами.

Где грусть была,
Там голубой уток,
Где слезы шли,
Там золотые злаки,
Где боль жила,
Там розовый цветок,
А там, где горе, —
Маки!
Маки!
Маки!

И милая,
Наряднее ольхи,
Земного обновленья б не минула.
Все заблужденья,
Все свои грехи,
Как листья прошлогодние,
Стряхнула.

И в ощущенье
Новой чистоты,

С надеждою,
Что жизнь пойдет иначе,
Мы побрели бы с нею
Рвать цветы,
Возросшие
На наших неудачах.

*

Тишина, тишина...
Тишина, как во сне.
Как во сне, голубые снега.
Спит мой город,
Его по весне
Беспокойная будит река.

По веселой весне,
Нарушая покой,
В кручу берега,
Как по груди,
Вдарит мутной волной,
Двинет белой шугой,
Затрещит,
Загремит:
— Выходи!..

Выйдет девушка,
Вынесет сердце свое,
Скажет речке она:
— Не топи!.. —
И наполнится девичье сердце ее
Ожиданием первой любви.

И охватит озябшую
Сладкая жуть,
Всю ее — с головы и до ног.
И поднимется грудь,
И опустится грудь,
И послышится девичий вздох.

Опьянеет она...
Побледнеет она...
Вешний день по душе и седым,
Только стал замечать,
Что приходит весна
Раньше всех
Вот к таким молодым.

*

На трамвайной дороге плакат:
«Осторожнее — листопад!»
Опадают
И скверы и рощи,
Мокнут листья
В дождливой тоске.
Что трамваю!
Душе моей проще
Поскользнуться
На желтом листке.

Под стальные
Трамвайные оси,
На холодную гладь колеи,
Точно так же вот
Каждую осень
Опадали надежды мои.

А по веснам,
Похожим на юность,
Когда солнце
Ласкало и жгло,
Сколько старых надежд
Не вернулось,
Сколько новых надежд
Не пришло!

И, тревоги уже
Не скрывая,
Повторяю немножко не в лад

Те слова,
Что прочел из трамвая:
«Осторожно, душа, — листопад!»

*

Сопротивляясь темной силе,
Ее жестокости тупой,
Мы друг за друга заплатили
Ценою слишком дорогой.

Шли,
Не искали, где полегче.
Того, что взяли, не спасли.
Шли долго, и до нашей встречи
Мы юности
Не донесли.

Дорога та
Полжизни длилась.
Она такой глухой была,
Что терпеливая наивность
Отстала
И не догнала.

В любви попутной
Спозаранку
Забылась где-то чистота,
И горделивую осанку
Сменила
Просто прямота.

Бывало,
Что слабели силы,
Когда шагали через боль,
Оглядываясь на могилы

Тех, с кем делили
Хлеб и соль.

И все потери,
Все утраты,
Все, что лишь в памяти таю,
Мы жизни отдали в уплату
За позднюю любовь свою.

Не говори,
Что отлюбили,
Что сердцу
Время на покой.
Мы друг за друга заплатили
Ценою слишком дорогой.

ВТОРОЙ ОГОНЬ

Любовь горела,
А не тлела.
И все же, к радости моей,
Не до золы она сгорела,
Но, как береза,
До углей.

Она,
Ничем не оградима,
Перемежая страсть и гнев,
Вся изошла огнем и дымом
И вся распалась,
Почернев.

Погибла?
Нет.
Вернее прочих
Я знаю цену угольку
И каждый черный уголечек
В душе холодной берегу.

В моей душе,
Как в горне грубом,
Небесполезно им лежать.
Лишь только б огонек...
Да губы...
Да губы,
Чтобы подышать.

Не гибнут страсти.
Над враньем
Опять смеюсь.
Пусть не лукавят.
Любовь горит
Вторым огнем.
В таком огне
Железо плавят.

*

Как хорошо,
Что за крутыми
За гребнями
Далеких гор
Меня, забытого другими,
Ты вспоминаешь
До сих пор!

О, вспоминай!
В строках послушных
О нежных чувствах
Святословь.
Люби меня!
Средь равнодушных
Мне так нужна
Твоя любовь!

Бывало часто,
С жизнью споря,
Слабел я, горе затаив,
Мне чудились
В минуты горя
Цыганские глаза твои.

И было в них
Так много света,
Огня, как в золотом вине.
Как хорошо,
Что где-то, где-то
Ты вспоминаешь
Обо мне!

*

С душой,
Не созданной
Для драк и споров,
С неробкою,
Но доброю душой,
Я в этот мир
Печалей и раздоров,
Должно быть,
Преждевременно
Пришел.
И потому,
Чтоб недругу
Не вторить,
Я научился
Гневаться
И спорить.
Для той любви,
И светлой
И наивной,
Был создан я
На празднике ночей,
А приходил лишь
На ее руины
И склеивал
Обломки кирпичей.
И склеил я.
Не оробел.
Не сник.
Своей любви
Я здание воздвиг.

ТРЕТЬИ ПЕТУХИ
(1963—1966)

С ТОБОЙ, РОССИЯ

Велик твой путь,
И ноша нелегка,
Дробится камень
Под твоей стопою.
Мне кажется,
Что прожил я века,
И все живу,
И все иду
С тобою.

Когда аркан
Над головой свистел

И шум пиров
Катился по улусам,
Другой бы постарел
И поседел,
А я русел,
Я становился
Русым.

Всевластьем силы
И всевластьем тьмы
Я в прежней жизни
Был сто раз унижен.
Другой бы не превысил
И травы,
А я все рос,
Я становился
Выше.

И кровь была
Дешевле, чем вино.
Той кровью,
Безрассудно пролитою,
Другой
Ожесточился бы давно,
А я добрел
Твоею добротою.

По грозам,
По ветрам
Да по снегам
Я заучил
Твои степные песни.
Да, я ровесник
Всем твоим векам
И Революции твоей
Ровесник.

Мы стали
И моложе
И новей,
Но в добром свете
Красных пятилучий
Твоя дорога
Стала только круче,
Моя задача —
Только тяжелей.

Кто на горе,
Тот раньше
Солнце встретит,
Кто средь друзей,
Тот силой не шути,
Кто впереди шагает,
Тот в ответе
За все ошибки
На крутом пути.

А мудрый в дружбе
О друзьях печется,
А кто в борьбе,
Тот сил не тратит зря.
Ведь океан великий
Лишь качнется,
Как всюду
Закачаются
Моря.

Дробится камень
Под твоей стопой...
И пусть не первым,
Пусть не самым лучшим
Я был с тобой
В твоем

Давно минувшем,
Дай и в грядущем
Мне побыть
С тобой.

*

Роднюсь
С красавицей Москвой,
Но кроме
Все чего-то надо.
От сутолоки городской
Потянет вдруг
К земле и саду.

Тому,
Кто на земле живет,
Берет в труде
Лопату, вилы,
Земля степенность придает,
Которой мне недостает,
Она дает
Земную силу.

*

Веселый,
С грустными
Раздумьями
О трудном хлебе
И железе,
Сижу я с вами,
Слишком умными,
И рассуждаю
О поэзии.

Смешна мне
Ваших фраз
Значительность,
Слащавость вашей
Инфантильности
И ваша бледная
Начитанность,
Самовлюбленность
До умильности.

Не соблазнюсь
Луженой глоткою.
Но нет вредней
И бесполезнее,
Чем замыкание
Короткое
На этой самой...
На Поэзии.

Поэзия —
Не строчка ловкая,
Что Музой томною
По́дарена,
Поэзия —
Железо ковкое,
Когда с нее
Слетит окалина.

Не та,
Чернильная,
Бумажная,
Не та,
Виньетками
Увитая,
Поэзия —
Душа отважная,
Для всех семи ветров
Открытая.

СЕНЕГАЛЬЦЫ

Во имя всех живых —
А все мы тлеппы —
Не будьте ни корыстны,
Ни мелки...

Была война,
И в битве многодневной
Погибли сенегальские полки.

Под крик ворон
И воронов круженье,
Где штабелем,
Где кое-как — броском,
Их уложили
В длинные траншеи
И прикопали
Глиной и песком.

Когда и кости
В их могилах тесных
Успело время
Сжечь и перегрызть,
На горе людям
У крестьян окрестных
В душе практичной
Вызрела корысть.

И вот однажды
Эти погребенья
Невесть за что

Сражавшихся солдат
Крестьяне подняли
На удобренье,
Чтоб хлеб тучнел
И зеленел шпинат.

Земля была жирна
И липла к пальцам,
К подошвам ног...
Был урожай всему.
Но ветер с прахом
Бедных сенегальцев
Разнес по миру
Пагубу-беду...

О, месть бацилл!
Кровь африканцев страстных
В себе самой
Еще смиряла их.
Что сенегальцам
Было не опасно,
Теперь смертельно стало
Для других.

Костры горели,
Стлался дым мертвячий,
Мать расставалась с сыном,
Муж с женой.
Другая смерть
Встречалась громким плачем,
А эта —
Суеверной тишиной.

Во имя всех живых —
В избытке ль силы,
В избытке ль гнева,

В простоте ль святой —
Не ворошите старые могилы,
Они чреваты
Новою бедой.

*

Счастливый,
Я не нужен никому.
Счастливым быть
Мне стыдно одному.

Счастливый
Тяготеет к облакам,
К высоким звездам,
Где легко и вольно.
Счастливые как боги,
А богам
Ни жалостно,
Ни горестно,
Ни больно.

Печали,
Огорченья,
Страхи все
Я испытать душою
Не премину,
Как добрый врач,
Который на себе
Испытывает
Новую вакцину.

Как он,
В бреду
Над страхом проплыву,
Над жаркой бездной
Черной лихорадки,

Еще угарный,
Потянусь к тетрадке,
Чтоб записать победное:
«Живу!»

А коль живу,
То, значит,
И другой
Сумеет жить,
Переболев однажды.
Я нужен людям
Именно такой,
Каким сумеет быть
На свете каждый.

ДВА ЛИЦА

Случится же!
Как будто смелый,
Ведь как-никак
Зовусь певцом,
Стою, бывало, оробелый
Перед ответственным
Лицом.

Перед Лицом,
Не очень высшим,
Но все же,
Надо понимать,
Перед Лицом,
Уже привыкшим
Хоть чем-то,
Но повелевать.

Перед Лицом,
Чей взгляд упорный
Внушает
С чувством правоты,
Что он единственный,
Который
С высокой правдою
На «ты».

И вот —
О, странность,
О, подробность! —

Однажды пронял
Смех меня.
И страх,
И скованность,
И робость
Перед Лицом
Утратил я.

Он был еще
В суровой справе,
А мне забавно...
В чем секрет?
Да в том, что я
Его представил,
Каким он был
В двенадцать лет.

Представил я
Совсем иного,
Когда он был
В кругу ребят
И простодушен
До смешного,
И лопоух,
И конопат.

Над ним
Хихикали девчата...
Ну, словом,
Рос он на селе
Без государственной
Печати
На государственном
Челе.

Теперь
Мой опыт
Что-то стоит!
И вот я с опытом моим
Придумал самое простое,
Чтоб не робели
Перед ним.

Я предложил,
Чтоб над чинушей
Повесили его портрет,
Где лопухами
Вянут уши —
Каким он был
В двенадцать лет.

*

Он был вельможен,
Был он важен,
Был всеми
Почитаем он...
Порой ответит
На поклон,
Порою
Не заметит даже.

Однажды
Он сидел,
Как князь,
А я, как властный
Консул Рима,
Не торопясь,
Не поклонясь,
Прошел невозмутимо
Мимо...

И он подумал,
Что я тож
Куда-то
Даже выше вхож.
Он стал любезен...
И едва ли
Стихи нуждаются
В морали.

*

Свеженький,
Как пионер,
Ворковал он
Благонравно:
— Не министр
И не премьер,
Почему ж
Седеешь рано?

Мне министры
Не в пример.
Честолюбием
Не брежу.
Я поэт,
А не премьер,
Но обязанности
Те же.

Как не быть
Тут седине,
Если думаешь
В заботе
О такой
Большой стране,
О таком
Большом народе.

*

Есть разная
На свете тишина.
Есть тишина,
Когда молчит жена,
Молчат соседи
После бурной ссоры.

Есть тишина,
Когда, исторгнув чад,
Отгрохотав,
Надолго замолчат
В огне и дыме
Рухнувшие горы.

Есть тишина могилы.
Страшно вроде,
Но пострашнее
Тишины могил
Та тишина, когда
Во всей природе
Наступит равновесье
Вечных сил.

Та тишина,
Всевластная,
Большая,
Когда природа,
Как судья, молчит,
Но и своим молчаньем
Вопрошает:

Послушаем,
А что в тебе звучит?

В чужих страстях
Прослыть нетрудно
Страстным,
Прослыть певучим,
Когда я пою.
Ты музыку
Стихий моих
Стогласных
Не принимал ли глухо
За свою?

Страшней всего
К такой большой тиши
Прийти однажды
С тишиной души...

*

Не собираюсь
Жить в раю,
Да и в аду, поверьте,
Но, смертный,
Все же признаю
Своей души
Бессмертье.

Она, как тело, не умрет,
Она за телом не пойдет,
Зачем душе такое тело?
Она, как душам долг велит,
Покинув тело, отлетит
И примется за то же дело.

Начнет она везде летать,
Мои творенья объяснять.
Чужда дешевенькой эстрады,
Начнет она творить добро
За критиков и за бюро
Литературной пропаганды.

Итак, душа
Живет, дыша,
Бунтуя в смертном теле.
Умру,
Но будет жить душа
При том же
Умном деле.

*

Высокой дружбой
Похвалюсь.
Мои друзья —
Поэты, зодчие,
Но все сильнее
К вам тянусь,
Мои товарищи
Рабочие.

Хвалюсь, —
Добра моя строка!
Но мысль одна
Бросает в холод:
Не разучилась бы рука
Держать при этом
Серп и молот.

*

В любви
И радостях
Изверясь,
Живу тревожней,
Чем в бреду,
Живу и
Все чего-то жду,
На что-то
Все еще надеюсь.

А мне поют:
Люби, как птицы.
Щебечут мне:
Играй вничью.
Года велят:
Пора смириться,
А я смиряться
Не хочу.

Как мне постылы
Назиданья
Покорности:
Страдай!
Терпи!
Я в мир пришел
Не для страданья,
Пришел для счастья
И любви.

Любовь
И счастье есть,
Я знаю:
И сам любил
В былые дни.
И мучаюсь я
И страдаю
Лишь потому,
Что есть они.

И потому,
Во всем изверясь,
Встречая
За бедой беду,
Я все еще
Чего-то жду,
На что-то
Все еще надеюсь.

*

Душа родная,
Что с тобой?!
Наш горький век —
Не век Перикла,
Наш горький век —
Все время бой.
Ты ужаснулась
И притихла.
Душа родная,
Что с тобой?!

Душа родная,
Будь собой!
Не заблуждай себя
Минувшим.
В минувшем был
Все тот же бой
И боль была.
Так перед лучшим,
Душа родная,
Будь собой!

*

Дерзайте! —
Нам, поэтам, говорят, —
Как спутники,
Кружитесь по орбите.
Мир познавая,
Физики дробят
Природу косную...
И вы дробите!

Я признаю
С учеными родство,
Но признаю
И разницу от века:
Ученый
Расчленяет естество,
Поэты
Собирают Человека!

*

Спешить?
Лететь?
Припомните,
Что Чехов
До Сахалина
На телеге ехал.

Неторопливо
Ехал на телеге,
Но как правдиво
Говорил о веке.

А мы летим,
Безумием гонимы,
Все мимо жизни.
Мимо,
Мимо,
Мимо...

А мы летим.
О, постоять,
Взглянуть бы!
А мы летим
И пролетаем
Судьбы.

Наш век летит.
И мы за ним.
А вдруг
У нас поводья

Выпадут
Из рук?

Наш век ревет,
И винтовая лопасть
Несет,
Несет...
Эй, осторожней:
Пропасть!

*

Есть воробей,
А есть крупнее...
При взлете,
Надо понимать,
Орлу с земли
Куда труднее
Косые крылья
Поднимать.

С высот,
Где облачко дымится,
Где крыльям
И душе вольней,
Спуститься вниз
И не разбиться
Орлу усталому
Трудней.

БЛИНЫ

Речь о газе ведешь,
О какой-то утечке,
О каком-то баллоне
При нашем дворе,
А на памяти
Добрая русская печка
И лицо моей мамы
В домашней заре.

Пошурует клюкой,
Чтобы угли не гасли,
А потом накаленную,
С гладеньким дном
Мать гусиным пером
Сковородку намаслит
И зальет ее тонким
Шипящим блином.

Ну а мы —
Мы за печкой
Не просим,
Не клянчим,
Только молимся нашим
Ребячьим богам,
Чтобы маму постигла
С блином неудача,
Потому что тот блин
Шел не гостю,
А нам.

Дорогая,
Наш дом
Стал приветливым домом,
И, когда ты колдуешь
На хитром огне,
Не откладывай блин,
Что получится комом,
А как память о детстве
Отдай его мне.

ГИМН КОРОВЕ

Был вспоен волчицей
И Рем
И Ромул.
Мне ж, голодавшему
Много и тяжко,
В пользу пошло
Молоко коровы,
Доброй коровы
По имени Клашка.

Крупная,
Пестрая,
Грустноглазая,
Идет, бывало,
По лугу к берегу...
На левом боку
Темнеет Азия,
На правом боку
Пестрит Америка.

А как старалась,
А как понимала —
Все понимала.
Глухими ночами
Клашка раздумывала
И вздыхала
И чаще и громче,
Чем наша мама.

Она не паслась,
А всегда трудилась,
Она в родной
Луговой обширности
Траву выбирала,
Для нас
Стремилась
Дать молоко
Повышенной жирности.

Бывало, исчезнет.
Время тянется
В поисках Клашки...
И глядь,
Вперевалочку
Клашка откуда-то
С дочкой явится,
С этакой робкой
Пестрой
Дрожалочкой.

Что за чудо
И что за оказия!
Как у мамаши,
По шерстке беленькой
На левом бочку
Темнеет Азия,
На правом бочку
Пестрит Америка.

Можете спорить
И спорить:
Прав ли я?
Но за Клашкой моей
Все полезное:
Тут и масло,

Тут и география,
Тут и ряженка,
Тут и поэзия.

Что же,
И Рем и Ромул
Праведники,
Мол, Рима твердыни
Ими созданы!
Что же,
Волчице
Ставят памятники,
А Клашке моей
Еще не воздано!

Аз воздам!

*

Стройным
Хвастая станом,
Высотою груди,
Очень уж иностранно
На меня не гляди.

Мое имя
Василий,
И должна понимать, —
Мое имя с Россией
Хорошо рифмовать.

*

О, как быстро
Время мчится!
За плечами за моими
Города меняют лица
И становятся чужими.

Как найти
Места свиданий,
Где мы в юности любили?
Их теперь громады зданий
Под собой
Похоронили.

Как лосось,
Пройдя стремнины,
Вспоминая путь недавний,
У воздвигнутой плотины
Бьюсь я памятью
О камни...

*

Любил,
Как сон,
Прелестную,
С мечтой
И грустью в облике,
Любил полунебесную,
Стоящую на облаке.

Не видел,
Как менялася
С бедою неутешною,
Не видел, как спускалася
С небес
На землю грешную.

Не тихою,
Не слабою,
Но рано песню спевшую,
Увидел просто бабою,
Уже отяжелевшую.

Такая
И встречается,
Такая мне и любится.
Мой вкус
Перемещается
От Рафаэля
К Рубенсу.

*

Нас развела
Ее несмелость.
Когда весь мир
Стонал в огне
И содрогался,
Так хотелось,
Чтоб кто-то
Думал обо мне.

О, равнодушье!
Пусть измает,
Но если тело
К телу вплоть,
То плоть твоя
Сама признает
Мою тоскующую
Плоть.

Молил:
«Останься!»
Сердце стыло,
В крови гудел
Девятый вал.
Я заклинал
Рожденьем сына,
Землей и Небом
Заклинал.

Пусть будут
Муки и лишенья,

Пусть судят
Лживые уста.
Бог тоже шел
На погрешенье
В рожденье
Своего Христа.

Роди мне сына!
Сны пророчат
Величие земле моей.
Мой сын на Небо
Не захочет,
Он вечно
Будет верен ей.

Он будет верен
Вере павших,
Своею смертью
Смерть поправших,
Он будет верен
Славе их
И верен
Чаяньям живых.

Просил,
Но умирало слово,
Исторгнутое из груди.
Вымаливал:
«Роди такого.
Ты можешь,
Ты должна.
Роди!»

Смысл
До жестокости суровый
Она в ответ

Вложила свой:
«Я вижу,
Как страдают вдовы.
Мне, милый,
Страшно стать вдовой».

Расстались мы,
И я не очень
Ее, пугливую, виню.
С тех пор
Среди достоинств прочих
В любви
Я мужество ценю.

*

Знакомо,
Как старинный сказ,
Уходят женщины от нас.
Они уходят
И уносят
Холодный блеск
Холодных глаз.

Была нежна
И влюблена,
Была так долго
Мной пьяна.
Так неужель
В ней не осталось
Ни капли
Моего вина?

Зачем любить?
Зачем гореть?
Зачем в глаза
Другой глядеть?
Увы! Уму непостижимы
Две тайны:
Женщина и смерть!

*

У моей
У любви,
У страсти
Больше нет
Над тобою власти.

Власть ушла
В расцвете,
В богатстве,
Как уходит власть
В государстве.

Власть ушла,
И люди смеются:
Дескать, свергнут
Без революции.

Ты в каком-то
Чужом режиме,
Как чужая,
Ходишь с чужими.

Не боишься
Ты взгляда злого,
Не томишься
В любви
От слова.

Мне теперь
И любовь
И дружба
Как премьеру
Простая служба.

*

Было все.
Всего нелепей
Заклинал ее: страшись!
Поклянись на белом хлебе,
Поклянись на белом снеге,
Синим небом
Поклянись!

Было все.
Всего нелепей
Клятв ее звучала страсть.
И клялась на белом хлебе,
И клялась на белом снеге,
Синевой небес
Клялась.

Потеряла клятва силу,
Потеряла клятва власть.
Поклялась и изменила,
Изменив,
Опять клялась.

*

В глазах твоих,
Чужих и злых,
В липучей тине дно.
Измена даже в помыслах —
Измена все равно!

Душа моя
Восстанет вся,
Восстанет — стает снег.
Неверная, расстанемся,
Наверное, навек.

С незажитыми ранами
Уеду, бредя елями,
Лечить себя буранами,
Целить себя метелями!

*

Все чаще, чаще падаю,
Все чаще грудь болит.
Уже вино не радует.
А только тяжелит.

Любил и пил запальчиво
И разгадал давно,
Что женщины обманчивы,
Как сладкое вино.

А жизнь была не гладенькой,
Не чистеньким кювет.
Уже кому-то дяденька,
Уже кому-то дед.

Здесь новые возможности.
Но горько между тем,
Поскольку к новой должности
Я не готов совсем.

*

Я уеду.
Я непременно уеду.

Мне стыдно
Оставаться тут.
Устрою перевод
По службе,
Любовь свою
Отдам в приют,
Не доверяя
Ложной дружбе.

Здесь не живут,
Здесь лишь гостят,
Здесь слабые
Обиды прячут,
Здесь не поймут,
Зато простят,
Не пожалеют,
Но поплачут.

Здесь не откажут
Приподнять
Тяжелый камень
Вам на плечи,
Здесь свой
Предложат поменять
В надежде
Выменять полегче.

С такими жить —
Почти что лгать.
Мне было тяжело,
Не скрою.
Я звал:
Придите помогать,
Ведь вы же видите,
Что строю;

Что голову
К земле склонил,
Под ношею
Пригорбясь ниже,
Что пот
Глаза заполонил,
Гляжу — и
Ничего не вижу.

Не вижу —
Стежка иль тропа?
А ведь и нужно
Так немного:
Смахните только
Пот со лба,
Чтоб стала мне
Видна дорога.

Моя беда —
Не их беда,
Для них важнее:
Сколько стоит?
Мне стыдно тут.
Хочу туда,
Где не торгуются,
А строят.

Я уеду.
Я непременно уеду.

БЕЛАЯ РОЗА

Со всеми ждала,
Сторожила тепло,
Потом зацвела,
Когда все зацвело.

Белели купины,
Как взлет лебединый:
Терновники,
Яблони,
Вишни,
Рябины.
Раскрыла бутон,
Красоты не тая,
И белая-белая
Роза моя.

Пчелы отпели,
Шмели отгудели,
С веселых деревьев
Цветы облетели.
Уже и плодам
Наступил свой черед,
А белая роза
Цветет и цветет.

Росла,
Наливаясь,
Зеленая завязь,
Округлились вишни,
На зорях румянясь,

А роза моя
В первозданной чести
Еще продолжала
Цвести и цвести.

Над нею,
Некрасной,
И время не властно,
Цвела она пышно,
Цвела она праздно,
Цвела все отчаянней
День ото дня,
Любимая
Белая роза моя.

К плодам,
Будь лишь влага,
У яблони тяга.
Старался, работал
Мой сад, работяга,
Скрипел и вздыхал
От тяжелых плодов
И ей не прощал
Ее белых цветов.

Бутоны,
Бутоны
Стриги, как купоны.
Она презирала
Природы законы.
Она оставалась
Такой, как была,
Она красовалась,
Пышна и бела.

И сад мой
С досадой
Желтел от надсады.
Смеялась она
Над усталостью сада.
И я разлюбил,
И уже не люблю
Беспечную
Белую розу мою.

*

Мне говорят: пиши!..
Твердят: пиши!..
Писать бы рад,
Но, забывая дело,
Сижу пустой,
Как будто из души
В потемках
Что-то вынуто,
Что пело.

Быть может,
Вовсе не желая зла,
Моей любви
Доверчивую пташку
Себе на память
Женщина взяла,
Когда я спал
С душою нараспашку.

А если женщина
Здесь ни при чем?
А если...
Если,
В небесах плутавшим,
Душа убита атомным лучом,
Совсем случайно
На нее упавшим?

Не в том загадка:
Петь или не петь, —

А жить или не жить!..
Разгадка, где ты?
Ведь есть
Четыре стороны у света,
На все четыре
Надо поглядеть.

Все оглядеть:
И Запад и Восток,
Но отыскать
Первопричину боли,
Чтобы в душе,
Как на бесплодном поле,
Высокой мысли
Вы́ходить росток.

*

А я когда-то думал,
Что седые
Не любят,
Не тоскуют,
Не грустят.
Я думал, что седые,
Как святые,
На женщин
И на девушек глядят.

Что кровь седых,
Гудевшая разбойно,
Как речка,
Напоившая луга,
Уже течет
И плавно
И спокойно,
Не подмывая
В страсти берега.

Нет,
У седой реки
Все то же буйство,
Все та же быстрина
И глубина...
О, как меня подводит седина,
Не избавляя
От земного чувства!

РУССКАЯ СКАЗКА

До жалости,
До огорченья
Меня волнует
С детских дней
Таинственное обращенье
Людей в животных
И зверей.

Мороз по коже,
Дыбом волосы,
Когда, уставя умный взгляд,
Они в беде заговорят
Тоскливым
Человечьим голосом.

Когда в лягушку
Камень бросят,
Она — о, боль моя и грусть! —
«Не убивай меня, — попросит, —
Тебе я в жизни пригожусь...»

Но вот
Копытом конь забил,
Заговорил, измаян бегом:
«Я был когда-то человеком,
Я тоже девушку любил.
Меня оборотил Кащей...»

Что сказка?
Вымысел и шутка.

Но станет пасмурно и жутко
От этих колдовских речей.

А вдруг
И я уже другой,
Какой-нибудь зверино-птичий,
И в этом жалостном обличье
Неузнаваемый тобой?!

Взмолюсь
И попрошу возврата
К тому, как жил,
Страдал, любил...
Не убивай меня!
Когда-то
Я тоже человеком был.

*

Такое
Нечто сходное
Заметит не любой:
Как здание высотное
Моя любовь с тобой.

От бури,
Что врывается,
Спокойное на вид,
Все здание качается
И потому стоит.

*

Между нами
Только камни
В этой жизни городской.
Дай мне речку с берегами,
Дай мне озеро с волной.

Дай мне таволги пахучей,
Дай мне, памятных душе,
Под высокой
Белой тучей
Разыгравшихся
Стрижей.

Дай калиновую крону,
Как весенний
Пышный дар,
Дай мне,
Дай мне
Хоть ворону
С примитивным криком
«Кар-р-р!».

Дай коня мне
В красной гриве
Проскакать в лучах
По дню,
И тогда
В одном порыве
Все в душе
Соединю.

*

Да Винчи говорил:
Когда вы захотите
Какой-нибудь реке
Дать новый,
Лучший путь,
Вы как бы
У самой реки спросите,
Куда б она сама
Хотела повернуть.

Мысль Леонардо!
Обновись, и шествуй,
И вечно торжествуй
На родине моей.
Природа и сама
Стремится
К совершенству.
Не мучайте ее,
А помогайте ей!

ПРОРОЧЕСТВО

Я жить
И мыслить устаю.
Я, сделав шаг
От легкой грусти
В мир
Ужасающих предчувствий,
Над черной бездною стою.

Меня охватывает дрожь,
Когда смотрю
В провал заклятый.
О, человечество,
Куда ты,
Куда ты, милое,
Идешь?

Меня охватывает страх.
Небрежно
К собственному дому,
Ты к счастью
Не пришло земному,
Что ж ищешь ты
В других мирах?

Меня охватывает гнев.
Утраты восполняя скудно,
Ты истребляешь
Безрассудно
Природы
Вековой посев.

Меня еще тряхнет не раз.
Ты жадное,
Алкая пищи,
Глядишь на мир,
Как жирный нищий,
Украдкой
Евший про запас.

Земли
Не вечна благодать.
Когда далекого потомка
Ты пустишь по миру
С котомкой,
Ей будет
Нечего подать.

Прости
Настойчивость мою.
Уже в плену
Тех дальних сроков.
Твой самый добрый
Из пророков,
Я жить
И мыслить устаю.

КОЛУМБ

Упрямый,
Он твердить не устает,
Чтоб жизни мудрость
Не была забыта:
Пока земля
Плодов нам не дает,
Она для человека
Не открыта.

Над ней горит
Бесплодная заря,
Закаты гаснут
В небреженье грубом.
А в наше время,
Чтобы стать Колумбом,
Уже не надо
Бороздить моря.

Твоя земля
Совсем недалеко,
В завоеванье
Никакого риска.
И хоть она,
Нетронутая, близко,
Открыть ее, такую,
Нелегко.

И даже ту,
Которую вспахал
И над которою

Весь век хлопочешь,
Ты до конца
Еще не открывал
И, как слепой,
Свое богатство
Топчешь.

Ты бороздишь
Земли усталый лик,
Не смея,
Не умея
Тронуть недра.
Войди в нее
На глубину
В полметра,
И ты откроешь
Новый материк.

В земле проснется
Жажда материнства,
Как в тот далекий
И туманный век,
Когда к ней
Прикоснулся человек
И ощутил с ней
Вечное единство.

*

Бог весть,
От культа ль нам дались
Слова решительные,
Вроде
Крутого слова: «Покорись!»
И это о родной природе?!

О, мы творим,
Преображаем!
Но почему ж
Врага грубей
Мы поминутно угрожаем
Извечной матери своей?!

Чтобы себя и мир спасти,
Нам нужно, не теряя годы,
Забыть все культы
И ввести
Непогрешимый
Культ природы.

*

Под статейки
О колхозном праве
Что-то перестали
Сеять травы.

Под крутые,
Боевые речи
Что-то перестали
Сеять гречу.

При решенье
Мировых вопросов
Что-то перестали
Сеять просо.

Что-то в царстве
Света и металла
Масла конопляного
Не стало.

А ведь, помню,
От такого масла
В старом блюдце
Тряпочка не гасла.

ОМУЛЬ

Было некогда вдоволь
Осетра и плотвицы...
Ну, а где теперь омуль?
Говорят, за границей...

И в любви,
И в почете
Для высоких обедов
Он летит в самолете
Вроде модных поэтов.

Омулька
Из Байкала
При еде и закуске
В наше время не стало
Даже...
Даже в Иркутске!

Лишаем обрастая,
Не нуждаясь в промочке,
Глухо плачет пустая
Омулевая бочка.

*

Высокие сосны,
Царицы
Весенних тишин,
Боитесь вы снега
И ветра.
Высокие сосны
С ветвями
У самых вершин,
Вам страшен
Закон Архимеда.

Высокие сосны
Подвластней
Его рычагу,
Качнет ли их
Ветра десница.
Высокие сосны
С ветвями
В тяжелом снегу,
Не дай же вам бог
Наклониться!

*

Ах, на Земле
Так редки чудеса!
Не потому ль в тоске
По райской птичке
И в плоть,
И в кровь
Вошла в людей привычка
С надеждою смотреть
На небеса.

Почти как рай,
Мечтаем мы открыть
Какую-то веселую планету.
Не мне бы,
Легковерному поэту,
С иронией
Об этом говорить.

Уже не бог —
Иные увлеченья
Нас к небесам
Сегодня привели,
Но в них все то же,
То же отвлеченье
От неизбывных
Горестей Земли.

*

Наш мир беднеет.
В мире что-то гибнет.
Был мамонт,
А у мамонта тропа.
От мамонтов остались
Только бивни,
Да кости белые,
Да черепа.

Была тайга,
Дремотна и косматa,
Была сосна,
Была, да стала пнем.
Теперь лишь пни остались
В три обхвата
Да корни,
Поразмытые
Дождем.

И только память
Сохранить сумела,
Как осенью,
Заполонив поля,
Тайгой шумела
И тайгой темнела
В три человечьих роста
Конопля.

Ни елка,
Соскочившая

С пенечка,
Ни конопели
Дымчатый прибой —
Ничто не уходило
В одиночку,
А что-то уводило
За собой.

О, конопля,
Сбежавшая от прясла,
Ты в детской
Не участвуешь игре!
Ни запаха,
Ни семечка,
Ни масла,
Ни коноплянки,
Певшей на заре.

Природа
И мудра
И терпелива,
Но люди, люди,
Надо же понять:
Ей, как на фронте,
В случае прорыва
Приходится
На флангах
Отступать.

И отступает,
И теряет вовсе
Она себя...
Да что там говорить!
Ее утрат
Ни в мраморе,
Ни в бронзе,
Ни в чем другом
Уже не повторить.

*

Все жухнет,
А солнце все жгучей,
А воздух все знойней,
Хотя
Проходят над пашнями тучи,
Плывут, не давая дождя.

И горько
Усталой природе,
И жутко земле на буграх.
Вся, вся она в трещинах,
Вроде
Вся, вся
В перекошенных ртах.

Но тучи
Над речкой безводной
Бредут, опустив рукава.
От близости их безысходной
Давно поседела трава.

Обидно,
Да так уж ведется:
Терпи, перекошенный рот,
А туча пройдет и прольется
Над гнилью
Каких-то болот.

*

Со времен
Еще древнегреческих
Уверяют, что жизнь стара.
А подумать —
У человечества
Ученическая пора.

Если Землю
Со всей Европою
В мире звездном
С селом сравнить —
Человечество
Только пробует
За околицу выходить.

Очень трудно
Даются знания,
Потому-то у имярек
На уроках правописания
Сто ошибок
На каждый век.

Набираясь
Любви и смелости,
Человечество из тенет
Все идет
К аттестату зрелости
И никак к нему
Не придет.

И страдает оно
И мучится
В подражании естеству.
Человечество
Только учится
Настоящему мастерству.

Нетерпимо,
Во зле запальчиво,
Непреклонно
И в доброте,
Человечество
Только начало
Разбираться в своей беде.

Умудряйся,
Мое Отечество,
И рассчитывай на успех.
У свободного
Человечества
Скоро станешь ты
Старше всех.

*

Вы помните,
В года былые
Мы,
Громких звуков лишены,
Пласты взрывали вековые
Спокойствия
И тишины.

А нынче
Гул во всю страну.
И скоро,
Подобрев к остаточкам,
Целительную тишину
Мы будем получать
По карточкам.

*

Вас. Кулемину

Не верил
В дьявола и лешего,
Но верил с детской простотой,
Что добрая душа умершего
Восходит
Новою звездой.

Я оглядел
Все небо синее.
Там цвета синего синей
Я отыскал
Звезду красивую
И разговариваю с ней.

ТРЕТЬИ ПЕТУХИ

Сергею Воронину

Из ночи́,
Из тьмы,
Как из берлоги,
Лезет нечисть
Отжитых веков.
Я боюсь устать,
Упасть в дороге,
Не дождавшись
Третьих петухов.

Но цветет,
Цветет,
Цветет вдали
Розовый цветок
Большого роста.
Вся Земля в изъянах,
У Земли
Шелушится
Старая короста.

Путь ее
Нелегок
И непрост.
В распрях доброго
И злого духа
Так и жмется
К частоколу звезд
Со своею
Древней почесухой,

А душа?
Не для тебя ль,
Ранимой,
Розовый цветок
Вдали цветет?
Жизнь прекрасна
И неумолима,
Жизнь через меня
Перешагнет.

Все перешагнет,
Не медля в шаге:
Мерзость,
Подлость,
Смуты,
Мятежи,
Наше горе, слезы,
Наши страхи,
Наши боли
Сердца и души.

У нее
Свои на счастье виды.
Через кровь пройдет
До лучших дней...
Пусть!
Но как же
Все мои обиды
Примирить мне
С гордостью моей?

Как же
Перед нечистью
Не сдаться,
Не чертя
Спасительных кругов,

Как же мне,
Не уступив,
Дождаться
Предрассветных
Третьих петухов?

КОСТЕР

Что такое костер?
Я отвечу вам
Просто и прямо:
Без огня —
Это куча
Отжившего хлама.

Это тлен тальника,
Что подмыло весною,
Это стебель цветка,
Отпылавшего в зное.
Это дуба листы,
Что висят до мороза,
И виток бересты
Отшумевшей березы.
И пенечек с трухой,
Что неспешно затлеет.
И подсолнух сухой
С перекрученной шеей.
То, что взгляду далось,
Было в сумерки взято.
На костре собралось
Все, что жило когда-то...

Что такое костер?
Это добрый
Высокий огонь.
Протяни к нему руки,
Обнявши ладонью ладонь,
И присядь,

И побудь,
Чтобы вдоволь погреться.
Грейся, но не забудь
Ты к огню приглядеться.

Если б не было тьмы,
Ты увидел бы проще:
Дым похож на дымы
Зеленеющей рощи.
Легкий дым уже густ,
И над ним, как бывало,
Вспыхнет розовый куст
Тальника-краснотала.
А потом из дымка,
Что опять озарится,
Алый выплеск цветка
Над костром повторится.
Закурчавится дым,
Закружится, завьется...
Вдруг подсолнух над ним
Зацветет, засмеется,
Постоит,
Подождет
Солнце, спящее где-то,
И опять упадет,
Не дождавшись рассвета.

Что такое костер,
Осветивший ночные кусты?
Это час воскресенья
Былой красоты.

*

Луна.
На тропке облюбованной
Теней волшебная игра.
Снег и березы...
Все отковано
Из молодого
Серебра.

А утром...
Утром снег синей,
Еще синей
И розовей,
Чем под полозьями саней
Боярыни Морозовой.

*

Мир дремучий,
Мир такой горючий,
И огонь то низок,
То высок,
Что не отличить,
Где дым,
Где туча,
Где зола,
А где речной песок.

В эту
Мировую непогоду
Мне бы
Отряхнуться
Добела —
Так, как лебедь
Пасмурную воду
Стряхивает
С белого крыла.

Молодость
На горести поката.
Грудь расправил —
И душа чиста.
Юного,
Меня легко когда-то
Поднимала в небо
Красота.

Нынче
Не до легкого подъема,

Крылья песен
Что-то тяжелы.
Слишком много
В наших водоемах
Накопилось
Всяческой смолы.

И лечу
Уже не я,
А годы...
Мне бы
Отряхнуться
Добела —
Так, как лебедь
Пасмурную воду
Стряхивает
С белого крыла.

*

Зима минула.
Счастлив я.
Иду по лесу,
Горя мало.
На старом пне
Лежит змея —
И тоже
Перезимовала.

И мне
И ей
Мила весна,
Хотя у нас
Различны вкусы:
Я напишу стихи, —
Она...
Она кого-нибудь
Укусит.

*

Я за себя
Не ведал страха,
Пока в урочищах тайги
Не подглядел,
Как росомаха,
Вскочив на шею кабарги,
Не подступила
К теплой жиле
Со злобой
Мелкого врага...
И вздрогнула
И, обессилев,
Упала мертвой кабарга.

Как росомаха
Средь зверей,
Такие есть
Среди людей.

*

Мне, рабочему,
Все по силе,
Мне, строителю,
Все с руки:
На домах
Стропила
Стропилить,
Окосячивать
Косяки...

Знаю тайну
Весенних почек,
Знаю сладость
Медовых сот.
Понимаю
Работу строчек,
Как товарищ мой
Гесиод.

НАЧИНАЮЩИМ

И на сердце,
И на глаз
Все берите
Про запас.

А потом
Деталей множество
Сокращайте
До художества.

Чувства
Добрые свои
Возвышайте
До любви.

Если это
Вами сможется,
Остальное
Все приложится.

*

От голготы
Младенческой
До гробового рва
У жизни человеческой
Есть разные слова.

Заговоришь ли с музами
Касательно судеб,
Слова должны быть вкусными
И теплыми, как хлеб.

И чтоб в любви
Не гасли мы,
Не впали в тишь и сонь,
Слова должны быть
Страстными,
Нагими, как огонь.

Есть вялые,
Безвольные,
Есть омуты без дна,
А есть слова застольные
Для смеха и вина.

Зато
В кровавой роздыми,
Когда врага не жаль,
Слова должны быть
Острыми,
Жестокими,
Как сталь.

*

За что я мучусь,
Непонятно,
С печалью Каина на лбу?
Какие солнечные пятна
Влияют на мою судьбу?

В каких высотах,
Сферах света,
В каком космическом краю
Прошла безвестная планета
И затенила жизнь мою?

А было просто,
Было ясно.
Теперь же слышу
В строе строф
Какой-то отзвук
Своевластный
Каких-то звездных
Катастроф.

В душе
И смута и смятенье.
Вот так в тоске
Из-под стрехи
При каждом
Солнечном затменье
Кричат тревожно
Петухи.

Задолго
До премудрой силы,
Летящей от земных границ,
Моя душа уже ловила
Поток космических
Частиц.

Поток, рожденный
В мире дальнем,
Он пробивал
Извечный мрак,
А мы с душой моей
Не знаем:
Что ж больно так?
Что ж горько так?

Не знаем мы,
Куда нам деться
От непонятной
Муки сей...
Какая власть
Миров над сердцем.
А власть Земли
Еще сильней!

ЗАМЕТЫ
(1945—1968)

*

Различий нет,
А есть года,
Есть возраст —
Разница лишь в этом.
Наружностью
Земля — планета,
А в глубине
Она — звезда.

*

Себе сказал
И говорю другим,

Всем говорю
С упорством постоянным:
Язык любви
Не может быть нагим,
Язык борьбы
Не должен быть туманным.

*

— Что ты молчишь? —
Услышал я упрек. —
Ведь ты бы мог
Нам рассказать о многом.
— При чем здесь вы?!
Своим высоким слогом
Я разговаривать
Учился с богом,
А бога нет —
Вот я и приумолк.

*

Заботясь о своем
Довольно добром даре,
Он сберегал себя,
Как скрипку Страдивари,
Но, избежав все зло,
Все страхи мук,
Он начал издавать
Фальшивый звук.

*

Что пользы
Вечно малым пробавляться:
Бояться жить
И умереть бояться!

*

Поколенья...
Мы двух поколений поэты.
Кто зажегся вперед,
Тот вперед отгорит.

Мы с тобой —
Как ступени летящей ракеты:
Оторвется одна,
А другая вперед полетит.

*

Великий Пушкин
Говорил когда-то:
Поэзия должна быть глуповата.
Раскрой же смысл загадки до конца
И отличать учись всегда ты
От глуповатого
Глупца.

*

Когда ему ликуется,
Поэт похож на курицу
Снесет словцо,
Как яйцо,
И целый день кудахчет.

*

Отдам народу
Сердце,
Руки,
Но только пусть не говорят,
Что я слуга народа...
Слуги
Всегда с хозяином хитрят.

*

Все выскажу,
Ни перед кем не струшу,
Не отступлю
Ни перед какими лицами.
Невысказанный гнев
Убивает душу —
Не становитесь
Самоубийцами!

*

Пусть недруги бранят,
Трудись, не споря.
Они тебя гранят,
Себе на горе.

КРИТИКИ

Один ругал меня
Так круто,
Что круче
Даже не бывать.
Другой хвалил,
Но так,
Как будто
Хотел кому-то
Продавать.

*

Поэзией
Приписанный к векам,
К бессмертью слов,
Когда меня карают,
Как Будда,
Я не мщу своим врагам —
Они с годами
Сами умирают.

*

Негодяй!..
Стыда не зная,
Завершив позорный труд,
Почивал он, негодяи,
Видно, тоже устают.

*

С любовью —
Хоть гроза!
А без любви, беднягам,
Нам небо как глаза,
Подернутые мраком.

*

Изо всего того,
Чем люди дышат,
Что не дает
Качнуться и упасть,
Есть красота.
Она из благ всех выше,
А выше красоты
Лишь страсть.

*

Мне дорог смех,
Но все же различай
Веселье глупости
И мудрости печаль.

*

До всенародного признанья
Пути заведомо трудны.
Поэт обязан
Жить в изгнаньи,
Хотя б
От собственной жены.

*

Что сказать мне
О двадцатом веке?
Я скажу,
Что людям не везет.
Льется кровь,
И в каждом человеке
Стало меньше крови —
Вот и все!

*

Собака
Любит пост,
С начальством

Любит встречи,
Но отрубили хвост,
Вильнуть собаке
Нечем.

*

С. Поделкову

Человек — пароход,
Что стремится к верховью.
Натужен,
Где опасность
Вдвойне велика:
Грузы все тяжелей,
Днище глубже и глубже,
В то же время
Все мельче река.

*

Писатель некий
Предался врагу,
Сбежав от нас,
Ведет себя болтливо.
Предательство
Не ново на веку.
Еще один предатель —
Эко диво!

*

Все ворочают умами:
Ходит Пушкин
Между нами!
Где же?
Видимо, сей бард
Не имеет бакенбард.

*

Известный спор
Меж школами и школками
Закончу я,
В сознаньи правоты.
Хоть наши Музы
И ходили голыми,
Поэзия не терпит наготы.

*

Как мы пишем?
Как летаем мы?
Все по-разному смелы:
Воробьи летают стаями,
Одинокими — орлы.

*

Хочешь ведать,
Как писалось?
На душе
За жизнь мою

Все скипелось,
Все слежалось.
Отколю —
И выдаю.

*

К чему безмерные потуги?
Пусть успевает зреть душа.
Котенок начинает с мухи,
Потом доходит
До мыша.

*

Вам, девушки,
К семье идущим,
Желал бы я
Из благ земных —
Детей, не слишком озорных,
Мужей, не очень много пьющих.

*

Молодая береза совсем не белая,
Белой береза бывает зрелая.
Та не рябина, что днями поздними
Птиц не поманит красными гроздьями.
Та не девушка, не красавица,
Если никто на нее не зарится.

*

Любит совесть?
Нам не в новость
Доброта людей таких.
Негодяи любят совесть,
Когда совесть —
У других.

*

Что пчела
Врага карает,
Трутня не касается.
Трутень мед не собирает —
Вот и не кусается!

*

Есть в дружбе
Доброе ядро,
Прекрасно слово — друг,
Но дружба —
Это не бюро
Приятельских услуг.

*

Кто любит сласть,
Тот сладости добьется.

Была бы власть,
А подхалим найдется.

*

Милый друг,
Хочу сказать,
Чтобы знал ты наперед:
Радость надо нам искать,
А печаль
Сама найдет.

*

Моя любовь
Давно в годах.
Как яблопя на горке
В отяжеляющих плодах
Нуждается
В подпорке.

*

Она,
Умевшая любить,
Так равнодушно обнимает.
Она еще не понимает:
Меня забыть —
Несчастной быть.

*

— Не изменяй! —
Ты говоришь любя.
— О, не волнуйся.
Я не изменяю.
Но, дорогая...
Как же я узнаю,
Что в мире нет
Прекраснее тебя?

*

Говорят,
Моя строка
Про любовь,
Что так горька,
Детям хуже яда...

Детям
Дайте Маршака,
А меня
Не надо.

*

Родник струился
Во всю прыть,
И я, как полагается,
Напившись,
Кран хотел закрыть,
А кран
Не закрывается...

*

До того,
Когда с юга
Примчались гонцы,
Я скворечник приладил
На дереве...
Прилетели скворцы,
Поселились скворцы,
О, спасибо, скворцы,
За доверие!

БЕРЕЗА

Стоит в бересте
Под еловою кроной,
Как в курной избе
Золотая икона.

Приди поклониться —
И боль отболится.

*

В глазах еще белым-бело...
По северу кочуя,
Я видел лебедя крыло,
Я видел лебедя крыло...
Им подметали в чуме.

*

Мухоморы-капутники,
Все поганки боров —
Неизменные спутники
Настоящих грибов.

Заприметив негодные,
Поищи благородные.

*

Пусть одинаков сорт,
Пусть цвет похоже красный,
Но разная земля —
И вкус у яблок разный.

*

Душа томилась
По живой природе.
Скосил траву я
В нашем огороде,
Сметал стожишко.
На ольховый стяж
Ворона села —
И уже пейзаж!

*

Картина не типичная,
Но облик постоянный:
Коровники кирпичные,

А клубик
Деревянный.

*

Он говорит
И страстно и глубоко,
Но странно видеть
Сытого пророка.

*

Бог любви,
Я снова в сердце ранен.
Огради от смертного одра,
Удержи меня на светлой грани,
Чистой грани
Мира и добра.

*

Он и впрямь
Какой-то разный,
Как редиска разноспелый:
Поглядишь — снаружи красный,
А раскусишь,
Видишь — белый.

*

Я ваших сочувствий
Не слушаю,
Что из носу кровь потекла.
Борьба — это самое лучшее,
Что жизнь
Подарить мне смогла.

*

В какие страны и края
Уходит молодость моя?

Когда бы знал туда я путь,
Пошел бы я ее вернуть.

*

Берегите меня
До последнего дня,
Берегите меня
До последнего часа,
Берегите меня,
Как цыгане коня,
Чтобы гикнуть потом
И умчаться.

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХИ РАННИХ ЛЕТ
(1936—1945)

ПЕРЕПУТЬЯ
(1945—1950)

МАРЬЕВСКИЕ ЗВЕЗДЫ
(1950—1955)

ДИКИЙ МЕД
(1955—1958)

НЕ ЛЕВЕЕ СЕРДЦА
(1958—1960)

ЛИЦО ВЕКА
(1960—1961)

КНИГА ЛЮБВИ
(1961—1963)

ТРЕТЬИ ПЕТУХИ
(1963—1966)

ЗАМЕТЫ
(1945—1968)

Федоров В. Д.

Ф33 Собрание сочинений. В 3-х тт. Т. I. Стихотворения. М., «Молодая гвардия», 1975.

496 с.

В первый том трехтомного Собрания сочинений известного советского поэта Василия Федорова вошли избранные стихи, созданные более чем за тридцать лет работы в поэзии (с 1938 по 1968 год). Открывает Собрание сочинений автобиографический художественный очерк «О себе и близких».

Р2

Ф $\frac{70402-213}{078(02)-75}$ Подписное

Василий Дмитриевич Федоров
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ в 3-х тт. Т. I.

Редактор **Вад. Кузнецов**
Художник **Б. Чупрыгин**
Художественный редактор **А. Романова**
Технический редактор **Г. Каплан**
Корректоры **Т. Песнова, В. Назарова**

Сдано в набор 4/II 1975 г. Подписано к печати 31/VII 1975 г. А01369. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага № 1. Печ. л. 15,5 (усл. 21,7). Уч.-изд. л. 15,3. Тираж 100 000 экз. Цена 1 р. 53 к. Заказ 2617.

Типография издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.